

**ПАНАЕВ И.И.**



**ПРЕКРАСНЫЙ  
ЧЕЛОВЕК**

FB2: , 20.06.2008, version 1.1

UUID: BD-03DD8D-3515-E943-A1B1-16E6-3E87-FD27D5

PDF: fb2pdf-j.20180924, 29.02.2024

Иван Иванович Панаев

# **Прекрасный человек**

# Содержание

- Глава I, служащая вступлением; в ней рассказывается о том, в какую счастливую минуту родился прекрасный человек. . . . . 0006
- Глава II, из которой можно вывести заключение, как важно родиться в счастливую минуту, а равно и то, что благонравие, прилежание и другие похвальные качества никогда не остаются без награды. . . . . 0025
- Глава III О том, как прекрасные люди любят во всем порядок и какое обаятельное влияние имеет светская девушка на всех ее окружающих . . . . . 0040
- Глава IV О том, как иногда много зависит от соло во французском кадриле и каким образом в обществе ведут себя сочинители. . . . . 0051
- Глава V О том, каким страшным соблазнам подвергается молодой человек, вступающий в свет. . . . . 0076
- Глава VI, из которой, между прочим, можно усмотреть, что у благонадежных чиновников служба никогда не выходит из головы и сердца и что самые неожиданные обстоятельства покровительствуют прекрасным людям. . . 0094
- Глава VII, представляющая неопровержимые доказательства, что в Петербурге все

добродетельные и прекрасные люди всегда  
имеют успехи и награждаются . . . . . 0112

Глава VIII, располагающая к размышлению о  
том, что жизнь человеческая преисполнена  
горестей, бед, различных зол, лишений,  
болезней и проч., и проч . . . . . 0124

Глава IX, заключительная, из которой каждый  
читатель может вывести нравоучение, какое ему  
заблагорассудится . . . . . 0149

# Иван Иванович Панаев Прекрасный человек

*...О нем твердили целый век:  
«N.N. прекрасный человек!»  
Пушкин*

# Глава I, служащая вступлением; в ней рассказывается о том, в какую счастливую минуту родился прекрасный человек

— Тс! тс! шш! шш! Экой народец какой! Васька, да что же это такое? разве ты не можешь пройти, не задев за что-нибудь? Мало бьют вас, бестии... Нечаянно? нечаянно! Да еще бы нарочно? Шшш! Шш! Шш!.. О, господи боже мой! чувства никакого нет в этом народе, решительно никакого.

Так, качая головою, шептал человек низенького роста, толстенький, с крошечными глазками, с огромной лысиной, прохаживаясь на цыпочках взад и вперед по комнате.

На этом человеке был надет пестрый бухарский халат, и маленькая шея его была опутана белым платком, который почти совершенно закрывается широкою орденскою лентой красного цвета с желтой каемкой...

Хотя этому человеку было только сорок лет, но на его круглом и полном лице резко

обозначились морщины, — может быть, следствие усиленных трудов, и несмотря на полноту лицо его было болезненно-бледно, — может быть, от сидячей жизни. Глазки его, совершенно заплывшие, будто нехотя, будто с трудом глядели на божий свет; к тому же в эту минуту он моргал веками, лишенными ресниц, обыкновенного их украшения. Но да не подумает читатель, чтоб этот почтенный человек моргал по привычке, — совсем нет, он не имел никаких дурных привычек, решительно ничего особенного: какое-то торжественное спокойствие, ненарушимая безмятежность всегда царствовали на его полной физиономии — и он моргал веками только в самые критические минуты своей жизни, когда душа его бывала сильно взволнована и когда он сильно был недоволен или поражен чем-нибудь. В первом случае он беспрерывно моргал обоими глазами, во втором только изредка подергивал правым глазом.

— Шш! шш! — продолжал он, обращаясь к удалявшемуся в переднюю лакею, который стучал своими каблуками. — Ради же самого бога, Васька, шш!.. Как же ты не возьмешь,

братец, в расчет, что ходить тебе взад и вперед совершенно незачем? Сидел бы в передней да тачал бы сапоги, а то нет...

Лакей остановился, обернулся лицом к барину и разинул рот, но тот в страшном испуге замотал своими коротенькими ручками, заморгал глазками и снова, но выразительнее прежнего прошептал: шш!

Когда лакей вышел из комнаты, барин приложил руку к правому уху и, казалось, стал к чему-то внимательно прислушиваться... Но кругом была тишина ненарушимая; нагоревшая сальная свеча издавала слабый свет, едва освещая комнату средней величины с трех окон, уставленную красными решетчатыми стульями, украшенную двумя ломберными столами и двумя зеркалами.

Через минуту послышалось слабое стенание, как будто из других соседних комнат: при этих звуках человек в халате заморгал, почти не переводя дыхания, опустился на стул, как бы ожидая еще что-то, но опять все по-прежнему сделалось тихо, и, казалось, долго удерживаемый вздох вырвался из груди низенького и толстенького человечка и об-



легчил его. Губы его зашевелились; он забормотал что-то невнятно, но через минуту, приподнявшись со стула и заложив за спину свои коротенькие руки, которые едва сходились назад, он снова стал прохаживаться по комнате на цыпочках и говорить довольно ясно, впрочем, шепотом:

— Десять лет! десять!.. Истинно неисповедимы судьбы твои, Господи! Все это как будто сон... И знал, и видел, кажется, собственными глазами, а как-то не верилось. Надо взять в расчет, что в наше время десять лет очень много времени, очень! Однако такое странное происшествие должен считать я не иначе, как милостию божиею; только если бы все благополучно кончилось! а то ведь десять лет, десять!.. — И, повторяя беспрестанно это роковое число, он моргал обоими глазами.

Голова низенького человека опустилась на грудь, так что он подбородком уперся в самую середину ордена, висевшего у него на шее.

В это самое мгновение кто-то чуть слышно полурастворил дверь комнаты, противоположной передней, и чья-то голова выглянула из двери; но свеча так нагорела, что невоз-

можно было рассмотреть, кому принадлежала эта голова.

Низенький человек приподнялся и вздрогнул.

— Кто тут? — произнес он вполголоса и вдруг, как будто испугавшись, что проговорил слишком громко, повторил едва слышно: — кто тут?

— Это я, батюшка Матвей Егорыч, — отвечала голова, высунувшаяся из двери, также шепотом.

— Я! я! кто же я? — бормотал себе под нос Матвей Егорыч. — Сколько раз говорил я, что на вопрос «кто?» должно всегда сказывать имя и отчество или просто имя, а то я — ну что такое я?

Рассуждая таким образом, Матвей Егорыч подошел к столу, на котором стояла свеча, и хотел сощипнуть с нее, но рука изменила ему, обнаруживая его внутреннее волнение; однако он продолжал мыслить вслух:

— Вишь, как нагорела! а я совсем этого и не заметил. И оплывают как! Обманул меня этот плут Прохоров, а еще знакомый человек, еще говорит: отличные свечи, Матвей Егорыч.

рыч...

— Матвей Егорыч!

— Кто там?

После двух или трех неудачных попыток он снял со свечи, взял ее со стола и подошел к двери, из которой выглядывала голова. Но подсвечник дрожал в руке его.

— Это ты, Василиса? Ради бога, скажи, что такое? не случилось ли чего?

В самом деле, морщинистая голова, повязанная платком и выглядывавшая из двери, принадлежала Василисе, домоправительнице Матвея Егорыча.

— Ничего, батюшка, не случилось, благодарение богу.

— Ничего? То-то же... Да я хотел тебе сказать, Василиса, — продолжал Матвей Егорыч, — если тебя спрашивают: кто тут? — то следует взять в расчет, что желают узнать, кто именно вошел: Петр, Иван, Егор, Алена, Домна или... или... но «я» не может служить ответом, «я» неопределенно; а всегда и на все должно отвечать определенно.

— И! до того ли теперь, Матвей Егорыч!

— Что? а разве что-нибудь было?.. — И пра-

вый глаз Матвея Егорыча начал словно подергиваться, и он не мог докончить начатой речи.

— Нет, все слава богу, батюшка, ничего не было; все идет как должно; известное дело, что не легко...

— То-то же.

Матвей Егорыч покачал головой.

— Поди сюда, Василиса.

Он поставил свечу на стол и снова заложил руки за спину, остановившись посреди-не комнаты против домоправительницы.

— Я очень боюсь, Василиса, очень, потому что...

— Батюшка, Матвей Егорыч, чего же бояться? это дело обыкновенное...

— Оно конечно; но надо взять в расчет десять лет, Василиса, — вот что главное...

— Ведь у бога все возможно, Матвей Егорыч.

— Так, так: но сама ты знаешь, иногда бывают случаи...

— Точно, сударь, не ровен бывает час. Матвей Егорыч заморгал обоими глазами.

— Но ты говоришь, что ничего, слава богу?

— В добрый час сказать, батюшка.

Матвей Егорыч опустил руку в широкий карман своего жилета и вынул оттуда табакерку, любимую свою табакерку, с изображением девицы, стоящей перед трюмо, в шнуровке. Он взял щепотку табаку и с расстановкой три раза медленно провел два пальца с табаком под носом: так обыкновенно нюхивал Матвей Егорыч; потом протянул руку с табакеркой к домоправительнице.

— Возьми-ка щепотку, другую, Василиса Ивановна.

Василиса взялась было за табак, но в эту самую минуту опять послышался стон, и гораздо сильнее, чем в первый раз. Табакерка выпала из руки Матвея Егорыча, веки его захлопали.

— Беги туда, Василиса, беги скорей, брось все это! Что-то будет! Боже мой! брось это, Василиса, брось...

— Ничего, батюшка, не беспокойся, все, даст бог, будет хорошо.

И между тем она собирала с пола на ладонь просыпанный табак.

— Брось все, ну черт с ним, и с табаком, бе-

ги скорей...

— А вы, батюшка, не взойдете туда? ведь я за тем и пришла, чтобы спросить вас, Матвей Егорыч, не зайдете ли к нам.

— Нет, нет, ей-богу не могу, Василиса. Беги же скорей. Уж я лучше здесь побуду. Ведь, может быть, ничего, — продолжал он дребезжащим голосом, смотря ей прямо в лицо, — так все слава богу и кончится? Может быть, не правда ли, а? — И на глазах его показались слезы.

— Ничего, батюшка, ничего... — И Василиса отдала табакерку Матвею Егорычу и вышла, или, лучше сказать, выбежала из комнаты с подобранным табаком.

— Ничего, ничего! — шептал Матвей Егорыч, оставшись один. — Ничего... Конечно, оно дело самое простое; это случается всякий день, а в таком большом городе, как Петербург, и в день-то, я думаю, по нескольку раз; однако надо взять в расчет десять лет, десять!..

Он провел рукою по лицу, отирая слезы, и еще раз повторил: «Десять!»

Три раза он прошелся по комнате, три раза

принимался осматривать у свечи, не повредился ли шалнер в его любимой табакерке, не попортилась ли дама, стоявшая перед трюмо; но все это он делал почти машинально: мысли его заняты были чем-то важнейшим, что можно было сейчас заметить по учащенному миганью век.

Вдруг в передней раздался звон колокольчика; по звону можно было догадаться, что какая-то могучая рука привела его в движение. Матвей Егорыч вздрогнул.

— Какой это дурак так дергает за ручку колокольчика? — прошептал он, подходя на цыпочках к двери передней: Звон раздался в другой раз и еще сильнее...

— Шш! шш!.. Васька! Васька!

Но Васька ничего не слышал: он сидя спал на прилавке в передней; на коленях его лежал сапог; с боку, на этом же прилавке, в груде кожи, колодок и сапожных щеток, стояла оплывшая и нагоревшая свеча... Видно, сон его был глубок и приятен, если и колокольчик, висевший над самою его головою, не мог разбудить его.

Матвей Егорыч подошел к нему и начал

расталкивать.

— Экой народец! — шептал он, — и утром спит, и вечером спит, и ночью спит, всегда спит и ничего не хочет взять в рассуждение. Да разве жизнь-то дана нам для сна? Ему, дураку, что хочешь толкуй, ничего не возьмет в голову. Васька!

Лакей, ворча и протирая глаза, начал приподниматься.

— Ну же, братец, проснись! Посмотри, свеча-то как оплыла; ведь ты, бесчувственное животное, пожар в казенном доме сделаешь. Ну, за что я тебя буду кормить, если ты все спишь?

— Я не спал, Матвей Егорыч, ей-богу не спал. Зачем, сударь, спать.

— И божится! Хоть ты тут что хочешь, а он свое. Бесчувственный народ!

Звонок раздался в третий раз.

Матвей Егорыч зажал уши и закрыл глаза; потом с силою, которую ему придал гнев, толкнул лакея к двери.

— Гостей не принимать... Слышишь ли! Меня нет дома, нет дома...

И, повторяя последние слова, он вышел из



передней, немного притворил дверь залы и в щелочку стал смотреть, кто войдет.

Когда Матвей Егорыч увидел вошедшего, он с чувством собственного достоинства приподнял голову, поправил крест, висевший у него на шее, отворил дверь и остановился против вошедшего. Во всей фигуре его было что-то торжественное; он принял на себя ту величавую осанку начальника, когда тот становился лицом к лицу с подчиненным.

Вошедший был департаментский курьер.

— Что же это ты, братец, так стучишь? — сказал Матвей Егорыч. — Поднял звон на весь дом. Ты этак можешь и жену мою перепугать и звонок оборвать; надо звонить осторожно. Эх, Афанасьев! а я думал, что ты деликатнее всех.

— От его превосходительства, — сказал курьер, подавая Матвею Егорычу огромный пакет.

Матвей Егорыч, взяв пакет, вышел из передней и почувствовал, что в пакете лежит что-то необыкновенно крепкое, тяжелое, и правый глаз его тотчас начал значительно подергиваться. Он улыбнулся, улыбнулся с та-

кою приятностию и добродушием, что описать этого решительно невозможно. Подошедши к столу, на котором стояла свеча, он ощупал пакет и потом распечатал его и вынул из него письмо. В письме обернутый в темно-красную ленту с черными полосами покоился орден св. Владимира 3-й степени. Матвей Егорыч тщательно развернул ленту, в которой скрывался орден, и потом, держа ленту за кончики, начал любоваться и орденom и лентой на некотором расстоянии. Орден живописно качался на ленте, потому что руки Матвея Егорыча дрожали от душевного волнения. Так прошло несколько минут. «Спасибо его превосходительству, ей-богу спасибо... — шептал Матвей Егорыч, — внимательность дороже всего в начальстве, а орденок красив, весьма красив... Посмотрим, однако ж, что пишет его превосходительство».

Вытерев пыль со стола и положив орден на стол, Матвей Егорыч развернул письмо, поднес к свече и вполголоса, с расстановками, прочел следующее:

«Любезный Матвей Егорыч! Спешу препроводить к вам знаки ордена Владимира 3-й

степени. Поздравляю вас с этою монаршею милостью, которую вы вполне заслужили вашей ревностной и полезной службой. Указ Капитулу только вчера подписан; но мне хотелось поскорее видеть на вас этот орден, и я велел купить его для вас.

Примите от меня этот подарок, как свидетельство моего к вам уважения, с коим имею честь быть...»

— И прочее, и прочее, — произнес Матвей Егорыч, складывая письмо и улыбаясь с тою же невыразимую приятностью. — И прочее... То-то я смотрю, что крест-то больно красив... Ай да его превосходительство! спасибо ему, ей-богу спасибо!.. Афанасьев! поди же сюда, дружок, — закричал он курьеру, опуская руку в карман своих панталон и вынимая оттуда два целковых.

— Имею честь поздравить, ваше высочородие!

— Спасибо тебе, спасибо, вот возьми.

Курьер взял два целковых, поклонился и вышел.

Тогда Матвей Егорыч взял со стула свечку и перенес ее на другой стол, к зеркалу; потом,

опустив ниже на грудь орден св. Анны, он сверху св. Анны возложил на себя вновь пожалованный ему орден и начал смотреться в зеркало.

— Вот это орден! — говорил он сам с собою, поправляя Владимира. — Слава богу — вот дослужился до какой награды...

Вдруг пронзительный младенческий крик прервал размышления Матвея Егорыча: он заморгал веками, вздрогнул и в совершенном остолбенении опустился на стул, только изредка робко поглядывая на дверь, противоположную передней, как бы кого-то ожидая оттуда.

В самом деле, через несколько минут эта дверь отворилась, и Василиса, остановившись перед Матвеем Егорычем, поклонилась ему в пояс.

— Матвей Егорыч! имею честь поздравить вас, батюшка, с сынком. Нам сынка бог дал...

— Сынка?.. Сынка? — повторил он, не двигаясь со стула, на котором сидел. — Сынка?.. — Матвей Егорыч перенес столько сильных потрясений в продолжение последнего часа, что в эту минуту он совершенно смутил-

ся... Жена, Владимир 3-й степени, сынок... все перемешалось и спуталось в голове его. Он подумал, что это сон, один только соблазнительный сон. Не шутя, сомнение в действительности всего происшедшего дошло в нем до такой степени, что он начал ощупывать, точно ли у него на груди висит владимирский крест... Уверясь в последнем, он протер глаза и уже с большим сознанием повторил: — сынка?..

— Сынка, Матвей Егорыч, сынка! да и какой мальчик-то! весь, кажется, в вас, батюшка.

— В меня?.. Ну... а что Настасья Львовна?

— Ничего, батюшка, все благополучно.

— Благополучно? Что же она...

— Ничего, батюшка, лежит, лежит... Пожалуйста к нам, она вас спрашивала. Где, говорит, Матвей Егорыч; что он не придет ко мне? Да и сынишку-то своего посмотрите. Славный мальчик, славный!

Матвей Егорыч приподнялся со стула, потер лоб и пошел на цыпочках вслед за Василисой.

Настасья Львовна лежала на широкой по-

стели за перегородкой, а возле нее младенец.  
Матвей Егорыч подошел к постели.

Настасья Львовна устремила на него томные глаза и вздохнула.

— Ну, как вы себя чувствуете, дружок?

— Благодаря бога, — проговорила она едва слышно.

— А я за вас порядочно струхнул! думаю себе, надо взять в расчет десять лет... Ну, поздравляю с сыном... Поздравьте же и меня, душечка, кроме сынка, и еще кое с чем...

— С чем же, друг мой?

— Не говорите много, не говорите, это нехорошо... а вот я вам сейчас покажу.

Матвей Егорыч отвязал назади шеи тесемочку, снял крест и, держа орденскую ленту двумя пальцами, поднес крест к Настасье Львовне.

— Вдруг две радости... — прошептала она.

— Не говорите, душечка, не говорите; теперь мы за вас будем говорить. А! Настасья Львовна! ведь в счастливую минуту родился ребенок? Что скажете? Только что я подвязал крест на шею, как и слышу его крик... Счастливый будет ребенок, Настасья Львовна, ей-

богу, счастливый! Да где же он, мальга?.. А! мое почтение! Да мы его назовем Владимиром, непременно Владимиром, в честь пожалованного мне ордена, который я возложил на себя в самую минуту его рождения. Как вы думаете, душечка?.. Ведь это надо взять в расчет... Не говорите, не говорите, вам говорить нехорошо, а так только улыбнитесь... Да он у нас, посмотрите, сам со временем дослужится до такой же приятной награды... а? пузырь! не правда ли? Ведь выдумал же родиться именно в такую счастливую минуту, скажите пожалуйста!.. Душечка, а знаете, ведь это не капитульский крест: сам его превосходительство купил и прислал мне в подарок.

Он снова поднес орден к самым глазам супруги.

С минуту она любовалась им; но уже слабость одолевала ее, уже орден представлялся ей в тумане — и она заснула нечувствительно.

Матвей Егорыч на цыпочках вышел из спальни... Он все улыбается, — так ему было весело. Это была самая светлая минута в его службе, потому что вся жизнь представлялась

ему в форме департаментской службы...

«По всем признакам, — думал он, — этот ребенок будет счастливый, если взять в расчет минуту его рождения...»



## **Глава II, из которой можно вывести заключение, как важно родиться в счастливую минуту, а равно и то, что благонравие, прилежание и другие похвальные качества никогда не остаются без награды**

**М**атвей Егорыч был истинно счастлив...  
Что ни говорите, а в 45 лет чин статского  
советника, и Владимир на шее, и почетное  
место с хорошим жалованьем, с квартирой, с  
освещением и отоплением, — да это блажен-  
ство! И ко всему этому сынок Володя — загля-  
денье: такой полненький, такой румянень-  
кий, как яблочко, он так мило и звучно кри-  
чал, так царапал маменьку и папеньку, хва-  
тая их своей ручонкой за лицо... Родители  
уже видели в нем будущую подпору своей  
старости, замечали в нем каждый день ка-

кие-нибудь необыкновенные способности, всем знакомым своим прокричали про его понятливость и ум, хотя он не умел еще не только ходить, но и ползать. Много значит родиться в счастливую минуту: люди, рождающиеся в такие минуты, от колыбели до гроба обыкновенно катаются, как сыр в масле. Статская советница беспрестанно целовала своего сынка и звала его Вольдемарчиком; статский советник, каждый раз, возвращаясь из присутствия, хлопал его по щеке и говорил самым ласковым голосом: «смотри ты у меня, плут Володька, вот я тебя!» И каждый раз после этого у супруга с супругой происходила небольшая размолвка.

— В вас нет никакой нежности, — говорила обыкновенно Настасья Львовна Матвею Егорычу, — так не обращаются с деликатным ребенком.

— Да почему же, Настенька? — возражал Матвей Егорыч, — ведь он у нас не хрустальный.

— Почему? почему?.. Ну, что если вы так станете ласкать его при ком-нибудь чужом и называть Володькой, — позвольте спросить,

что станут об вас говорить в свете?

— А что же такое станут говорить?..

И правый глаз Матвея Егорыча обыкновенно начинал моргать, и он тотчас принимался ходить по комнате, заложив руки назад.

— Что же могут сказать дурного? Да и разве мне указ, как другие обращаются с детьми?.. Уж мне и сына родного приласкать нельзя, как я хочу? Да что же после этого...

— Полноте, полноте, Матвей Егорыч... Уж и разворчались.

Матвей Егорыч немного поморщивался, но уже ничего не возражал и после нескольких минут молчания обыкновенно обращался к своей супруге с следующим вопросом:

— А что, не пора ли водочки, душечка?

Неописанна была радость родителей, когда Володя стал ходить и издавать какие-то нестройные звуки... Какое прекрасное платьице купила ему Настасья Львовна! какого бесподобного солдата подарил ему Матвей Егорыч!

И что за умница был Володя! он не ломал и не рвал своих игрушек, как другие дети; он даже и мало обращал внимания на своего

солдата, хотя у этого солдата был отличный красный мундир и бесподобные усы из настоящего волоса... Володя чувствовал более наклонность к съестным игрушкам, и преимущественно к сахарным и пряничным куклам: первые он обсасывал с необыкновенным искусством, вторые грыз (зубки у него вышли очень легко) с проворством и легкостью изумительными. Он не пренебрегал также и сдобными булками. Бывало, целый день, с утра до вечера, он или грызет, или жует, или сосет, а потому в доме было совсем его не слышно.

Многие упрекали Матвея Егорыча и Настасью Львовну за то, что они баловали Володю; но ведь он у них был один, одно сокровище, одно утешение, одна надежда.

Сын, родившийся у них в первый год брака, через два месяца умер, и после этого десять лет жили они бездетно и уже совершенно отчаялись иметь подпору под старость дней своих, как вдруг, неожиданно, через десять лет бог послал им такую радость, а ровно через два года после рождения Володи, еще неожиданнее, другую, — именно дочь, кото-

рую они нарекли Марией, в честь бабушки Настасьи Львовны.

— Поздравляю тебя, Матвей Егорыч! — говорил ему в департаменте один его сослуживец, также статский советник, но только с париком и крашеными бакенбардами, ударяя его дружески по плечу и улыбаясь, — поздравляю, братец, с дочкой; ты под старость-то видно не на шутку пошаливать начинаешь, а?.. Молодец! молодец! мы, братец, и помоложе тебя, кажется, да за тобой — куда! не угоняешься.

Но дочка Матвея Егорыча была прехилая и претщедушная, а потому ни он, ни Настасья Львовна не обращали на нее особенного внимания и почти вовсе не ласкали ее. Она даже и не показывалась в парадные комнаты, то есть в залу и гостиную, где почти безвыходно был Володя. Настасья Львовна всем гостям своим, целуя Володю, говорила:

— Это мой фаворит! это милый, ласковый ребенок!

Время шло, и как-то очень незаметно: Володе уже было 10 лет, Маше 8... Володю по-прежнему наряжали, дарили, кормили; у него

успели даже подгнить и попортиться зубки от сахара; он расхаживал, подняв вверх голову, и смотрел на всех смело. Маша была робка и застенчива: она все жалась в уголок; она была нехороша, но у нее были живые и умные глазки, хотя Настасья Львовна и сестра ее, девица Анна Львовна, жившая у нее в доме, называли ее глупенькою. Машу ничем не дарили; она ходила в заштопанных чулках и в старом платье. По крайней мере раз десять в день повторяли ей:

— Маша, посмотри на Вольдемарчика: как он держит себя, как он говорит, как он глядит, — а ты ведь ни на что не похожа.

Всего более доставалось Маше летом на даче. Сзади дома тянулась большая и густая роща. Маша очень любила эту рощу и все бегала туда и часто заманивала с собою Володю. Ей было там хорошо на свободе; она резвилась, бегала, рвала цветы; ей не хотелось идти домой, а Володя все звал ее в сад...

— Здесь гадко, сестрица, — говорил он, — лучше станем играть в садике против маменькиных окошек; там чистые дорожки, а здесь все сор.

Но Маша не соглашалась ни за что поменять свою рощу на крошечный садик, где она не смела дотронуться до цветка, где она боялась измять траву. Володя жаловался за то на нее маменьке, и та больше драла ее за уши, а потом совсем запретила ей бегать в рощу; но Маша не слушалась маменьки и все-таки бегала туда потихоньку.

Не таков был Володя; он ничего не делал, не спросясь прежде у маменьки. Самое любимое препровождение времени была игра в чиновники: бывало, лишь только вскочит с постельки и умоется, сейчас посадит за стол мальчика, который был нарочно приставлен к нему для забавы, положит перед ним клочок бумаги, даст ему в руки перо и заставит его чертить на бумаге разные каракульки, а сам с важностью расхаживает по комнате, изредка подходя к столу с нахмуренным личиком и сердито повторяя:

— Ну, какой ты чиновник, коли порядочно строки написать не умеешь? Дряннь, а не чиновник!

Все это папенька Володи делал с господином, который часто по вечерам сидел у него

в кабинете, а Володя все это и подсмотрел в щелку. Матвей Егорыч, увидев такие забавы своего сына, пришел в совершенный восторг, с чувством посмотрел на него и сказал Настасье Львовне:

— О-о-о! да этот мальчик пойдет далеко!

Успехи Володи в различных науках и преимущественно в каллиграфии превзошли и маменькины и папенькины ожидания. Заглавные буквы писал он с такими вычурами и завитками, что нельзя было достаточно наглядеться на его рукописи. Матвей Егорыч со слезами на глазах показывал эти рукописи своим знакомым, которые от удивления только пожимали плечами. Добрый и счастливый отец говорил, ходя по комнате и качая голову:

— Первый писец будет, первый в нашем департаменте! Уж на что Савельев, такого писца и в военном министерстве нет, а он перещеголяет со временем и его, непременно перещеголяет!

Настасья Львовна, поправляя свой новый чепец перед зеркалом, сказала с расстановкою:



— Очень рада способности Вольдемарчика к каллиграфии: он будет снимать сестрице Анне Львовне канвовые узоры!

По тринадцатому году Володю отдали в общественное заведение, где он вскоре и отличился благонравием и прилежанием. У него все тетрадки содержались в необыкновенной чистоте и переписаны были с величайшим тщанием: особенно красиво и вычурно были написаны им заглавные листы. В рекреационное время, когда другие резвились и бегали на дворе, Володя оставался в классе и готовился к урокам: он все заучивал наизусть, не исключая даже арифметики, а впоследствии алгебры и геометрии; форменный сюртучок его был всегда застегнут на все пуговицы, а воротник на все крючки, отчего у него под подбородком сделался даже очень заметный рубец; учебные книги его в шкапу были расставлены в величайшем порядке, а у старых книг перемаранные их прежними владельцами листы, на обороте переплета, Володя заклеил новыми, чистыми бумажками; перочинный ножичек, грифель и карандаш носил он всегда в мешочке, который сшила ему

Василиса по его просьбе.

Ножичком он дорожил более всего, не давал его никому, а если и давал, что случалось очень редко, то, как Иван Федорович Шпонька, всегда просил, чтобы не скоблить пера острием. По воскресеньям из дома он привозил различные лакомства, как-то: изюм, миндаль, чернослив и сладкие пирожки, и кушал всегда потихоньку от всех своих товарищей; съедал же помаленьку, раскладывая аккуратно все привезенное ровно на неделю.

Статский советник давно замечал в сыне аккуратность, бережливость и другие похвальные качества; он, как добрый и нежный отец, не мог им не радоваться.

— А знаете ли что, душечка, — сказал он однажды своей супруге, — ведь Володя-то наше истинное утешение. Начальство о нем говорит, что он смирен, как красная девушка, с шалунами не связывается, сидит себе все да учится.

— Бесподобное дитя! — возразила статская советница. — Какая разница между ним и Машей! Куда ей до него! да он против нее барин, — и манеры и все этакое, а она ни на что

не похожа и держать себя не умеет, вся выпятитя вперед: безобразие просто!

— Впрочем, и Маша добрая девочка, душечка. Дай срок, и она выравняется.

— Я ничего особенно доброго в ней не вижу. У вас, Матвей Егорыч, все добрые.

— Но что мне особенно нравится в Володе, душенька, знаете ли, что?

— Как же я могу знать, что?

— Безответность, дружочек. Когда ему толкуешь что-нибудь, он не вертится на месте, как другие дети, а почтительно, чиннехонько слушает и никогда рта не разинет. Редкий, благонравный мальчик и трудолюбивый!

Володя точно был из первых по трудолюбию и благонравию; правда, многие имели способности гораздо лучше его, но те, видно, слишком надеялись на себя и многим занимались небрежно, посвящая себя только исключительно любимым своим предметам;

Володя же занимался с одинаковым старанием вообще всем, потому что ни одному предмету не отдавал предпочтения перед другим. Хронологическую часть истории он знал чудесно и, нечего греха таить, любил при слу-

чае блеснуть своими знаниями перед товарищами. Кто-то заметил, будто он имеет небольшое пристрастие к математике; но вряд ли это замечание имело какое-нибудь основание, потому что он занимался всем в известные часы и словесным наукам уделял столько же времени, сколько и математическим. Переводы его с французского на русский язык были очень удачны: он прилагал все старание, чтоб обработать свой слог, и достиг этого. За полгода до выпуска он подал учителю словесности сочинение под заглавием «Поездка в Парголово», которым учитель был необыкновенно доволен и сказал ему:

— У вас, друг мой, есть вкус; со временем вы можете сделаться сочинителем; только обращайтесь более внимания на словосочетание и избегайте какофонии. Это главное.

Двадцати лет Володя окончил курс учения и вышел вторым по списку, а на публичном акте произнес речь: «О русской словесности вообще» (сочиненную, впрочем, не им, а учителем), в которой чрезвычайно убедительно доказывалось, что русская словесность началась с Игоря и Олега и потом быстрыми шага-

ми все шла к совершенству и что мы имеем ныне писателей во всех родах, не уступающих иноземным писателям, а именно: по части сатирической — Кантемира, по драматической — Сумарокова, Княжнина и Озерова, по эпической — Державина. Речь эта произвела значительное впечатление на многих почтенных слушателей, которым особенно понравилось заключение, написанное точно трогательно и прочитанное с большим чувством.

Матвей Егорыч был, разумеется, в числе присутствовавших на акте. Когда сын его вышел на кафедру, у него очень заметно заморгали оба глаза и очень сильно забилося сердце. Он слушал его с напряжением, не проронил ни одного слова из Володенькиной речи, хотя и не совсем ясно понимал ее содержание. Когда же Володя кончил и когда отец увидел и услышал вокруг себя одобрительные знаки и слова, у него слезы покатались по лицу градом; он, всхлипывая, бросился навстречу к сыну, обнял его и повторял прерывающимся голосом: «я счастливый отец, счастливый! спасибо тебе, Володя!»

Через два месяца после акта Матвей Егорович определил Володю в тот департамент, где служил сам, на 800 рублей ассигнациями жалованья. Володя усердно принялся переписывать различные отношения, так бегло и вместе таким правильным почерком, что в самое короткое время снискал необыкновенное уважение всех канцелярских чиновников в департаменте.

— Мاستак, брат, писать, — говорил один из таких своему товарищу, рассматривая бумагу, переписанную новым его сослуживцем, — право, мاستак, нечего сказать! Закорючки-то он злодейски выделяет. Савельев не хуже его пишет, да нет, заглавные-то у него все не так выходят.

Почерк Володи бросился в глаза и самому директору департамента.

— Ба! да кто это так хорошо пишет! точно жемчугом написано: красиво и четко! кто это? — спросил директор у Матвея Егорыча.

Правый глаз у Матвея Егорыча подернулся.

— Сынишка мой, ваше превосходительство, которого вы изволили недавно определить, — отвечал он.

— Прекрасная рука! А где воспитывался?

— В гимназии, ваше превосходительство.

— Пусть он переписывает только министерские бумаги. Слышите, Матвей Егорыч?

— Слушаю, ваше превосходительство.

Выходя от директора, Матвей Егорыч шептал, моргая:

— Счастливый отец! счастливый!

## Глава III

# О том, как прекрасные люди любят во всем порядок и какое обаятельное влияние имеет светская девушка на всех ее окружающих

Володе... но теперь нам уж следует, я думаю, звать его Владимиром Матвейчем...

Владимиру Матвейчу назначили папенька и маменька особенную комнату, в одно окошко, очень узенькую, но довольно длинную, в которой, впрочем, удобно могли уставиться кушетка, стол, шкаф и несколько стульев. Он имел в полном распоряжении шестьдесят пять рублей в месяц; впрочем, Матвей Егорыч совещался сначала об этом пункте с Настасьей Львовной.

— Не много ли молодому человеку оставить вдруг в распоряжение такую сумму? Как вы об этом думаете, душенька?

— Отчего же много? Вольдемар, вы сами говорите, аккуратен и бережлив.



— Конечно, против этого ни слова; но все-таки надо взять в расчет, что еще молодо-зелено; мало ли какая блажь может войти в голову... Кто молод не бывал... — При этом Матвей Егорыч улыбнулся еще приятнее и выразительнее, чем когда-нибудь. — А знаешь ли, Настенька, сколько я получал в его лета?

— Вы мне об этом раз пятьдесят говорили.

— Ну, а сколько? вы и не знаете...

— Очень мне нужно этакие пустяки помнить.

— Вот то-то же. Семь рублей в месяц. Правда, тогда и деньги были почти что вдвое дороже, — да, именно, вдвое: все-таки 14 рублей, а ведь ему придется по 65 рублей в месяц.

— Да вы не себе ли хотите отбирать его деньги, которые он, голубчик, будет приобретать собственными трудами? Уж не имеете ли вы намерения откладывать их себе на вистик, Матвей Егорыч?

Настасья Львовна иронически улыбнулась. Правый глаз Матвея Егорыча заморгал:

— Вы никогда не хотите понять меня и все мои слова перетолковываете бог знает в какую дурную сторону...

Он прошелся по комнате и вдруг остановился.

— Настасья Львовна, кажется, я не подал вам повода думать о себе так дурно...

Он еще раз прошелся по комнате и еще раз остановился.

— Чтобы я у родного своего сына отнимал деньги для собственной забавы! Я только имел в виду его нравственность, более ничего... Впрочем, ему можно, я полагаю, безопасно позволить распоряжаться такою суммою: он малый рассудительный; я хотел об этом прежде все-таки спросить у вас, — думаю себе — все лучше посоветоваться с женою, а вы...

Итак, Владимир Матвеич имел в полном распоряжении 65 рублей в месяц и вполне оправдал доверенность, оказанную ему родителями. В первый месяц он издержал не более 55 рублей. Сюда входили обыкновенные, ежедневные издержки по мелочам, как, например, на извозчика, — и на эти же деньги он запасся духами, помадою, перчатками, купил счеты; для записывания прихода и расхода — маленькую тетрадку; для украшения

своей комнаты — литографированный портрет директора, под начальством которого находился, и цветной бумаги для рамки этого портрета...

Владимир Матвеич был, между прочим, большой мастер клеить из цветной бумаги разные коробочки и футлярчики, а также и делать рамки для картинок, которые нисколько не уступали рамкам работы Юнкера. В число этих же 55 рублей он был один раз в театре. Остальные за расходом 10 рублей — ассигнацию новенькую, отличного розового цвета, он спрятал в коробочку, нарочно устроенную им для денег. Он предположил заранее непременно каждый месяц откладывать от жалованья хоть понемногу в эту коробочку.

Рамка на портрет директора, светло-голубая с золотом, вышла очень красива, и портрет он повесил над кушеткою. Кушетка же украсилась прекрасно вышитой подушкой, подаренною ему сестрою. Письменный стол его был в величайшем порядке.

Сургуч, карандаши, ножик, ножницы и проч. разложены были будто напоказ, и Владимир Матвеич сам ежедневно со всех вещей

в своей комнате, а также и с мебели вытирал пыль, не доверяя этого дела человеку.

Собою он занимался так же тщательно, как и своею комнатою. На его фраке никогда нельзя было увидеть пылинки; на голове его был всегда прибран волосок к волоску, и притом каждое утро он завивался и помадился.

Петербургские девицы и дамы должны были обращать особенное внимание на Владимира Матвейча, потому что у него было лицо полное, белое и румяное; к тому же рост его был немножко побольше среднего, а талии его мог позавидовать всякий гвардейский офицер, затягивающийся в рюмочку.

В одно прекрасное утро, за чаем, Настасья Львовна сказала своему мужу:

— Ведь Вольдемар-то наш бель-ом, Матвей Егорыч.

— Молодчик!

— Я уверена, что он в свете выиграет.

— Я тоже полагаю, душечка.

— Надобно свезти его на вечер к Николаю Петровичу. Пусть он потрется в солидных семейных домах и привыкнет к светским приемам.

— Это хорошее дело, душечка.

— Я заметила, — продолжала Настасья Львовна, — что у него не так хорош вход: правую ногу он выставляет слишком вперед, когда кланяется. Не взять ли ему, друг мой, несколько уроков у танцмейстера, особенно для входа, потому что танцует-то он прекрасно?

— Гм! Зачем бы, кажется, душечка? Это, по моему мнению, просто утонченность. Я и без танцевальных учителей вышел в люди.

— Вы? — да что вы вечно себя в пример ставите? — мало ли что было прежде!..

В эту минуту вошла Анна Львовна, сестрица Настасьи Львовны по отцу. Настасья Львовна чрезвычайно уважала ее и руководствовалась ее советами, несмотря на то, что та была моложе ее девятнадцатью годами. Анна Львовна имела 10000 рублей, которые отдавала в проценты, и получала с них по 800 рублей ежегодного дохода.

Она была модница, все говорила о том, что делается в большом свете, прекрасно вышивала шерстью, читала французские романы и с одной дамой, у которой жила прежде, выез-

жала на балы в танцклассы к Квитковскому и Марцынкевичу.

Матвей Егорович и Настасья Львовна, до переселения к ним в дом Анны Львовны, жили без всяких затей, как еще и теперь живут очень многие коллежские и даже статские советники, приобретающие деньги своими трудами. Они проживали только то, что получали, и этих денег им было слишком достаточно. У них всегда был хороший и сытный стол, бутылка ординарного вина, а по воскресеньям кондитерские пирожки. На окнах в гостиной у них не было занавесок, но зато стояли два или три горшка ераней; мебель вся красного дерева, обитая барканом под штоф, а на столе, у зеркала, под колпаком, алебастровая ваза с запыленными цветами. Анна Львовна очень легко внесла дух реформы в дом сестры своей: через три месяца после ее перемещения в этот дом окна гостиной Настасьи Львовны красовались кисейными занавесками, а сама она стала все говорить о свете и светских удовольствиях, — купила себе новый чепец с цветами и бантами и сшила новое шелковое платье.

Наружность ее также значительно изменилась: лицо сделалось гораздо белее и румянее, и две или три морщины будто каким-то чудом совершенно сгладились. Люди, привыкшие к злоречью, говорили, будто Анна Львовна белилась и румянилась и присоветовала делать то же сестре своей. Расходы Настасьи Львовны ежедневно стали увеличиваться; потребности ее неприметно становились шире и шире; Анна Львовна усердно старалась развивать вкус и понятия своей сестры — и Настасья Львовна делалась все более и более светскою, даже несколько ветреною, хотя ей было уже 47 лет. После полугода своей новой жизни она увидела, что у нее недостает денег на расходы, и принуждена была занять тысячу рублей тихонько от мужа.

— Здравствуй, Анета! — сказала Настасья Львовна, увидев входящую сестру и не докончив своего возражения мужу.

— Здравствуйте, Анна Львовна, — сказал Матвей Егорыч, привстав с своего места, — хорошо ли почивали-с?

Анна Львовна очень громко произнесла бонжур — и села к чайному столу.

— Что это у тебя шевё-лис? разве уж так носят? — спросила Настасья Львовна у сестры, глядя пристально на ее прическу.

— Да... разве вы не заметили на последней картинке? Пожалуйста, сестрица, не наливай-те мне так сладко. Мари, потрудитесь прине-сти мой платок... Здесь что-то холодно, — про-должала она, оборачиваясь к своей племян-нице, которая до сей минуты сидела никем не замеченная.

Белокурая, бледная, но очень стройная де-вушка встала и вышла из комнаты.

Анна Львовна немного прищурилась и по-смотрела ей вслед, едва заметно улыбаясь.

— А что, мы поедем, сестрица, в четверг к Николаю Петровичу?

— Непременно поедем. Я сейчас только об этом говорила с Матвеем Егорычем. Я хочу взять с собою Володю, — пора же ему начать выезжать в свет. Ну да и Маше надо бывать в этих обществах, хоть я заранее знаю, что из нее ничего не сделаешь. Все-таки я исполню свой долг...

— Эге-ге-ге! — сказал Матвей Егорыч, смот-ря на свои часы, — да уж десять часов. Пора



и на службу царскую; а Володя-то, Настасья Львовна, каков? — в восемь часов сегодня в департамент ушел.

— Я его и не видала, голубчика. Вы его там совсем замучите своими делами.

— Ничего, ничего; пусть себе привыкает к делу... — возразил Матвей Егорыч, приятно усмехаясь, — молодому человеку надо думать о карьере.

Когда Матвей Егорыч ушел, Анна Львовна обратилась к сестре.

— А какое вы платье оденете в четверг? лиловое гроденаплевое или пунсовое?

— Вот я уж об этом хотела с тобою посоветоваться, Анюточка. Как ты думаешь?

— Наденьте, ма шер, лиловое и свой новый чепчик с розовыми лентами.

— В самом деле. Я тебе очень благодарна за этот чепчик: он мне так к лицу.

— Вам бы надо купить блондовую косынку; нынче это в большой моде. На последнем бале у французского посланника все были в блондовых косынках.

— В самом деле? да ведь блондовые-то косынки дороги!

— И, полно-те! Как будто вы бедная! На вас все обращают внимание; вы в таком чине, вам нельзя же хуже всех одеться, — вы живете в свете.

— Да, это правда. Мы вместе с тобой поедем в Гостиный двор? Ты сама выберешь мне косынку?

— Это надо купить в английском магазине.

— В английском!.. а разве в Гостином дворе нет таких?

— Как же можно! Уж если иметь вещь, так вещь хорошую.

— В самом деле. А что, я думаю, надо будет надеть бриллианты?

— Непременно. Нынче все и на простые вечера выезжают в бриллиантах.

— Я пошлю Палашку к Носковой завтра же. У нее чудо какие бриллианты... все Брейтфус отделявал, — с большим вкусом, потому что мой-то фермуар уже слишком прост.

— Попросите у нее, сестрица, кстати, два фермуара — и для меня тоже.

## Глава IV

# О том, как иногда много зависит от соло во французском кадриле и каким образом в обществе ведут себя сочинители

В четверг, в семь часов вечера, Настасья Львовна стояла в полном блеске и даже в блондовой косынке перед туалетным зеркалом и поправляла на шее большой изумрудный фермуар, осыпанный бриллиантами, любясь их блеском.

— Ну, что, Анюточка, хорошо я одета?

— Премило, — ответила Анна Львовна, натягивая перчатки и входя в спальню. Анна Львовна была разряжена блистательно: платье ее, дымчатого цвета, живописно спускалось с плеч, вполне обнаруживая ее худощавую, ослепительной белизны грудь и длинную шею; румянец ярко горел на щеках, которые картинно разделял длинный горбатый нос. Она была вся смочена духами и пропита-

на самолюбивыми надеждами.

Вслед за Анной Львовной вошла дочь Настасьи Львовны в простом белом платье и в белом газовом вуале. Она была бледна сравнительно с своей маменькой и тетенькой. Кажется, предстоящее удовольствие нимало не радовало ее. Она, однако, с любопытством посмотрела на фермуар, горевший на груди ее матери, — и отошла в сторону.

— А, и вы готовы? — сказала Настасья Львовна, все еще стоявшая у зеркала, небрежно взглянув на свою дочь. — Отчего же это вы такую плачевную роль на себя взяли? Кажется, мы не на похороны едем. Анюточка, — продолжала она, обращаясь к сестре, — осмотри ее хорошенько: она и платья-то порядочно на себя надеть не умеет.

Анна Львовна подвинулась немного к своей племяннице и в двойной вызолоченный лорнет начала ее критически осматривать с ног до головы.

— Что-то у вас мешковато сзади сидит платье, — произнесла она с выразительною постановкою, окончив осмотр.

— Не знаю, отчего это; я не заметила, — от-

вечала девушка, краснея.

— Не знаете? — сказала Настасья Львовна, все продолжая смотреться в зеркало. — Что же вы знаете? Вместо того, чтоб вздоры-то читать, вы бы лучше, сударыня, позанялись собою.

— Готовы ли, готовы ли, душечка? Уж пора: скоро восемь часов; покуда еще доедем! — говорил Матвей Егорыч, входя в спальню в новом вицмундире, с грудью, завешанною орденскими лентами. В одно с ним время вошел и Владимир Матвеич, тщательно завитой, в коричневом фраке с блестящими пуговицами, держа в руке белые лайковые перчатки.

— За мной дело не стоит. Я готова, Матвей Егорыч... Палашка, зашпиль у манишки булавку с правой-то стороны. Да ну же, дура, поворачивайся...

— У! да какая вы, мамаша, нарядная! — сказал Владимир Матвеич, подходя к матери и целуя ей ручку.

Настасья Львовна улыбнулась с приметным удовольствием.

— И ты сегодня преавантажный, дружок, — возразила она. — Какие прелестные

пуговицы на фраке! Посмотрите, Матвей Егорыч, как у него все мило... Вот вам бы, сударыня, почаще посматривать на брата да перенимать у него порядок и чистоту. Палашка, салоп... Полюбуйтесь-ка, как он одет и какое у него всегда довольное, веселое лицо... Ну, я готова; поедемте...

Четвероместная ямская карета парой давно стояла у того подъезда, где жил статский советник. В эту четвероместную карету первая вошла Настасья Львовна, за нею Анна Львовна; они заняли первые места; напротив них сел Матвей Егорыч с сыном и дочерью.

— На Васильевский, в 14-ю! — закричал лакей, захлопнув дверцы.

Ровно в девять часов карета остановилась у одного из деревянных домов в 14-й линии. Семейство Матвея Егорыча, под предводительством его, вошло в узкую и коротенькую переднюю, освещенную двумя сальными свечами, в которой была нестерпимая духота от множества находившихся там лакеев. Шубы и салопы грудями лежали на прилавке. Музыка гремела. Бал уже был в полном разгаре...

— Ведь я говорила, ма шер, что мы поздно

выехали; от нас сюда так далеко... — сказала Настасья Львовна, обращаясь к своей сестре с ласковым упреком, — а все ты, моя милая копунья!

На лице Настасьи Львовны выражалось полное предчувствие предстоявшего ей наслаждения.

— Ах, боже мой! Кто же ездит на вечера ранее девяти часов? — возразила Анна Львовна, поправляя свои волосы.

Владимир Матвеич обчистил рукой свой фрак и надел белые перчатки.

Дверь из передней в залу отворилась. Хозяин и хозяйка встретили новоприезжих гостей у самого входа. Хозяйка — женщина пожилая, с незначительным лицом, в чепце с цветком; хозяин среднего роста, с огромным животом, с Владимиром в петлице, с круглым и красным лицом, по которому расходились в разные стороны пурпуровые жилки.

— Очень рада, Настасья Львовна... Анна Львовна, — сказала хозяйка, — ах, и Марья Матвеевна... очень рада, очень.

— Рекомендую вам моего сына Вольдемара.

— Очень рада...

Владимир Матвеич выступил немного вперед и раскланялся.

— Это по нашей части, — закричал хозяин, протягивая ему руку... — Пожалуйста-ка, молодой человек, пожалуйста... Мы вас сейчас в дело пустим, сейчас за работу. У меня покорно прошу от танцев не отговариваться... Ведь вы, я надеюсь, не философ... Ангажируйте-ка даму, выбирайте любой цветочек... Этот кадрили сейчас кончится... Я хоть и старик, у меня хоть ноги и в подагре, — да я вам сейчас покажу пример... я сам... вы увидите, не хуже вас отдерну кадрили, да и провальсирую, пожалуйста...

Так говоря, человек с огромным животом тащил за руку нашего героя. Владимир Матвеич еще не успел опомниться от такого добродушного приема, как уже очутился посредине залы.

— Александра Осиповна! матушка, Александра Осиповна! — продолжал хозяин дома, обращаясь к одной пожилой даме, сидевшей у стены, — вот я еще молодчика завербовал в танцоры, да у самого что-то стариковская



кровь разыгралась, и подагры не чувствую: хочу пуститься с какой-нибудь хорошенькой... не говорите только жене... — При этом Николай Петрович подмигнул.

— Проказник! — заметила дама, качая головой.

— Я покажу всей молодежи, что и в наши лета можно не ударить себя лицом в грязь. Хотите быть моим визави, Владимир Матвеич? а? хотите?

— Очень хорошо-с.

— Девицы-то знакомые есть ли у вас тут... Что, нет? — ну так вон ангажируйте ту, которая сидит третья от угла-то, такая смазливенькая, с розаном на голове, черная бровя, кровь с молоком. Ух, я вам скажу, бой девка! о чем хотите заговорите с ней, не сконфузится, небось.

— Пермете муа де ву зангаже, — сказал Владимир Матвеич немного робким голосом, подходя к ней.

— Oui, m-r, — отвечала девушка с розаном.

Музыка, на минуту смолкнувшая, снова загремела. Они стали в ряды танцующих.

— Как хочется затянуться! в горле, брат, со-

всем пересохло! — сказал один инженерный офицер с завитым хохлом, стоявший сзади Владимира Матвеича.

— Там внизу есть каморка, я провожу тебя. Коля на всякий случай взял с собою четверку Жукова, — отвечал чиновник военного министерства, в мундире, со шпорами и с отличной талией.

Владимир Матвеич обернулся, услышав знакомый ему голос. Чиновник военного министерства был его товарищ по училищу. Увидев Владимира Матвеича, он протянул ему руку и сказал:

— Здравствуй, мон шер! как кончишь кадрили, приходи вниз. Мы будем внизу; затынемся, — после затяжки как-то лучше.

Окончив первую фигуру, герой наш обратился к своей даме:

— Вы любите танцевать?

— Очень-с. А вы?

— И я люблю.

После второй фигуры он заговорил с нею снова:

— Здесь очень жарко.

— Очень-с.

После третьей он спросил у нее:

— Вы часто ездите в театр?

— Нет-с, но я очень люблю театр: это лучше всякого удовольствия, даже лучше танцев. А вы любите?

— Люблю-с.

Между тем хозяин дома, vis-a-vis Владимира Матвейча, мастерски выделывал па, острил, любезничал; пот лился с него градом. Дамы, глядя на него, от души смеялись; девицы скромно улыбались, закусив нижнюю губу; одна только Анна Львовна смотрела на него саркастически. Когда же дело дошло до соло, тогда и все прочие гости, игравшие в других комнатах в бостончик и в вистик и услышавшие о подвигах Николая Петровича, с картами в руках изо всех дверей высыпали глядеть на него. Несмотря на сильное утомление, он очень искусно выставил правую ногу вперед и немножко поболтал ею, потом обернулся кругом, стоя на одном месте, — и пустился на середину круга. На середине он снова поболтал правою ногою и прискакнул; но скачок был не совсем удачен, потому что он почувствовал сильную боль в ногах и застонал; од-

нако сила воли победила эту боль; он не хотел уронить себя в глазах такого многочисленного собрания и, приободрившись, грациозно протянул руку своей даме... Все старички, смеясь, захлопали в ладоши.

— Браво! Браво! — раздалось со всех сторон.

После Николая Петровича настала очередь Владимира Матвеича. Еще зрители не разошлись и продолжали любоваться танцующими, Владимир Матвеич с небольшим батистовым платочком в руке, чуть-чуть нагнув голову на левую сторону, мастерски скользнул по лакированному полу, взяв немного вправо, и сделал антраша, так, что завитки на голове его пришли в движение.

Сердце матери забилося от удовольствия, а у Матвея Егорыча захлопали оба глаза.

— Мило танцует, — заметило несколько дам почти в один голос.

Соло, протанцованное Владимиром Матвеичем, сделало такое сильное впечатление на всех дам, что он получил в этот вечер восемь приглашений.

Восхищенный своими успехами, он сошел

вниз, в комнату, где курили и куда приглашал его чиновник военного министерства. Но, отворив дверь в эту комнату, он невольно отшатнулся и закашлялся. Табачный дым волнами ходил в небольшом четвероугольном пространстве, и в этих волнах мерцал слабый огонек нагоревшей, засыпанной табаком свечи, мелькали какие-то лица и раздавался нестройный, оглушительный говор курящих.

Вдруг чья-то рука с красным обшлагом протянулась к Владимиру Матвейчу из облаков дыма и втащила его в комнату. Эта рука принадлежала уже известному читателям чиновнику военного министерства.

Минуты через три герой наш начал понемногу приглядываться и открыл в этом чаду многих своих знакомых и между прочими одного Измайловского офицера. Он подсел к последнему. Предметом разговора был Александрийский театр. Инженерный офицер, которому хотелось затянуться и у которого новые эполеты были сняты для того, чтоб они не закоптились от дыма, волочился за одной актрисой без речей, поэтому знал в подробно-

сти все закулисные тайны этого театра и рассказывал различные занимательные театральные анекдоты. Но более всех занимал общество, заключенное в этой табачной атмосфере, один штатский небольшого роста, очень худощавый, белокурый, с маленькими серыми глазками. Только что он разинет рот, тотчас замолчат и начнут слушать со вниманием. Казалось, все находившееся тут общество, не выключая и двух офицеров, Измайловского и инженерного, питало к этому господину особенное уважение и беспрекословно верило всем его рассказам. Он говорил о разных предметах: о том, что капельдинеры во всех театрах знают его имя и отчество, что он знаком со всеми актерами, что актеры после спектакля потчуют его ужином в «Фениксе», потому что боятся его, а актрисы беспрестанно приглашают его к себе; что он все читает иностранные книги, а русских не читает; что он пишет статью, в которой уничтожит одного актера, и водевиль, в котором уничтожит одного сочинителя...

— Скажите, кто же это такой? — шепотом спросил Владимир Матвеич, пораженный та-

кими речами, у своего соседа, измайловского офицера.

— Будто вы не знаете его? — возразил измайловский офицер.

Владимир Матвеич смешался и покраснел.

— Нет-с, не знаю.

— Это Зет-Зет...

— Тот, что в газете-то, братец, пишет! Это тот самый! — заметил чиновник военного министерства.

— Неужели?

У героя нашего стукнуло сердце. Он в первый раз находился в присутствии такой особы; ему очень любопытно было посмотреть, как ведут себя сочинители в обществе, как говорят они, нет ли у них на лицах чего-нибудь особенного, — и он начал внимательно рассматривать господина Зет-Зета.

— Хотите, я вас познакомлю с ним? — спросил у Владимира Матвеича измайловский офицер.

— Мне... мне бы очень приятно.

— Петр Васильевич, — сказал измайловский офицер, обращаясь к Зет-Зету, — вот г. Завьялов желает с вами познакомиться.

Владимир Матвейч встал со своего стула и начал раскланиваться.

Зет-Зет взял его за руку и произнес скороговоркою:

— Очень рад. Милости прошу ко мне: я живу на Лиговке, в доме Михеева, NN<sup>o</sup> 2345.

Потом он начал рассказывать с эффектом и с жестами сюжет своей новой большой драмы с куплетами под заглавием «Давид Теньер, или Фламандские нравы».

— Те водевили, которые написаны мною, — говорил Зет-Зет, — это так, мелочь, маленькие штучки, — а это уж вещь обделанная, обработанная: в моих водевилях только эскизы, очерки, а это уж драма, тут создание. Известно, что Теньер в молодости своей был только подражателем и подражал всем, не только фламандским, но итальянским живописцам, — впоследствии же удалился в деревню, долго изучал природу и деревенскую жизнь и потом уже сделался великим творцом и обессмертил свое имя. Это, вот видите ли, один только сухой факт из его жизни, а остальное все я добавил воображением — и это мне очень, очень удалось.



«У, как говорит!» — подумал Владимир Матвейч.

— В первом акте я представил Теньера, списывающего копии с Тинторетто и Рубенса: он живет совершенно обеспеченный и, по-видимому, счастливый, но гений его не дает ему покоя: он мучится, сам не зная отчего, худеет, бледнеет... уж если человек болен душевно, то, заметьте, непременно и лицо его изменяется. К нему приходит заказывать один вельможа копию: он берется окончить ее в два дня; но душевная болезнь его в эти дни увеличивается, и он не может приняться за кисть. На третий день вельможа является за картиной, узнает, что Теньер еще не начинал заказанной ему копии, кричит, сердится. Теньер говорит: «Так ждите же здесь, копия ваша через час будет готова!» — и с диким вдохновением схватывает кисть. Изумленный вельможа остается. Ровно через час копия, не уступающая оригиналу, готова. Вельможа осыпает Теньера похвалами и золотом и хочет взять копию, но Теньер в бешенстве выхватывает ее у него из рук, режет ножом и с диким хохотом выбегает из мастерской. Этим я кончил

первый акт.

— Черт знает, как это должно быть хорошо на сцене! — закричал инженерный офицер.

— Во втором акте, — продолжал Зет-Зет, — Теньер уже в деревне... Тут представлена картина фламандской жизни, — для этой сцены я много изучал, рылся в книгах...

— Рылся в книгах! Все это вздор! — вдруг раздался пронзительный голос, — да наплевать и на книги-то ваши, когда тут дело идет о танцах... Господа кавалеры! этак-то вы оставляете дам?.. Славно! ну, что вы тут расселись слушать этого молодца?.. а вот я велю запереть эту комнату, что тогда скажете? Затянулся да и марш наверх... Уж эти мне сочинители! мало им того, что обирают с нас деньги за книги, нет, еще слушай их... Петр Васильевич, дайте-ка мне вашу руку; ну, теперь налево кругом, да наверх, — проповедуйте там о вашей учености старухам... Господа, все за мною — марш!

И Николай Петрович потащил за собою господина Зет-Зета, и вслед за ними отправились все остальные.

Владимиру Матвейчу было ужасно досад-

но, что хозяин дома так насильственно поступил с г. Зет-Зетом: ему чрезвычайно хотелось дослушать сюжет драмы-водевиля.

Когда Николай Петрович оставил сочинителя, сочинитель на свободе начал прохаживаться медленно и задумчиво в тех комнатах, где были карточные столы, потом пришел в танцевальную залу, облокотился о косяк двери, скрестил руки и наблюдательным взором стал следить за пестрым движением бала...

Чиновник военного министерства, указывая на него головой, сказал одному из своих приятелей.

— Вишь, как смотрит? Как раз спишет кого-нибудь, ведь у него перо пребойкое.

Между тем герой наш не пропускал ни одного кадрили, он так же усердно выполнял бальную, как и департаментскую службу. Последний кадрили перед мазуркой он танцевал с своей теткой, Анной Львовной.

— Сегодня здесь довольно скучно, — сказала она, немного подвинув нижнюю губу вперед, в знак неудовольствия.

Анне Львовне потому казалось скучно, что ее мало ангажировали и что измайловский

офицер три раза танцевал с ее племянницей и только один раз с нею.

Едва она успела произнести «скучно», как табачная струя пронеслась в душном бальном воздухе, возвещая о приближении этого офицера. Офицер был весь пропитан жуковским вакштафом.

— Как я люблю табачный запах! — сказала она с заметным волнением и, играя лорнетом, обратилась к пришедшему.

— Вы не ангажированы на мазурку? — сказал он.

— Нет.

Когда этот офицер говорил с Анной Львовной, она немного пришепетывала на букву т. Выражение глаз ее при вопросе офицера тотчас изменилось: они подернулись легким туманом.

— Так позвольте мне танцевать с вами? — продолжал он. Анна Львовна выразительно посмотрела на него и кивнула ему дружески головой.

Когда офицер отошел от нее, какой-то знакомый его, штатский, сказал ему:

— Неужели ты хочешь танцевать с этой

размалеванной шкурой?

— Да что же делать, братец? Все хорошенькие ангажированы, а Николай Петрович пристаёт: танцуй да танцуй; так поневоле пустишься и с этакой...

Расставляя стулья для мазурки, Владимир Матвеич поставил стул для той, которую ангажировал. Это была девушка лет шестнадцати, полная, круглая, курносенькая, с тремя бантами на платье и с бриллиантами на шее.

Лишь только села она на приготовленное ей место и лишь только Владимир Матвеич придумал, с чего начать разговор, как к ней подошел Зет-Зет.

Нечего делать, Владимир Матвеич опустился на свой стул и проглотил придуманные им речи.

Мазурка началась. Зет-Зет удалился.

Владимир Матвеич вступил в свои права и употребил в дело придуманную им фразу, которая на девицу с тремя бантами произвела довольно приятное впечатление.

Мазурка длилась более часа, но этот час показался для него двумя минутами.

Перед ужином Зет-Зет подошел к Владими-

ру Матвейчу. Владимир Матвейч немного смутился.

— Вы знакомы с этой девицей, с которой танцевали мазурку?

— Нет-с; я только в первый раз имел удовольствие...

— А-а! Не правда ли, мила?

— Чудо! — такая любезная, воспитанная.

— У них очень приятный дом; по понеделникам съезды, познакомьтесь с ними — она одна дочь у отца, за нею тысячек около двадцати дохода, но доход что! главное — образование.

«Двадцать тысяч доходу!» — подумал Владимир Матвейч — и мурашки пробежали по всему его телу.

— А как ее фамилия?

— Рожкова.

— А где служит их батюшка? — спросил подбежавший в эту минуту чиновник военного министерства.

— Она из купеческого звания; впрочем, отец ее почетный гражданин...

— Насилу-то вы кончили ваш вист, Матвей Егорыч, — говорила Настасья Львовна, под-

ходя к карточному столу, исписанному мелом, — ведь, я думаю, часов шесть сряду сидели... Что же вы сделали?

— Восемь с полтиной зашиб, душечка, да, восемь с полтинкой... Рубль с четвертью, четыре рубля семьдесят пять, два... да, ровно так...

За ужином дамы, старики и молодежь расселись отдельно за особыми столами. Во главе молодежи был Зет-Зет. Он снова завел речь о своей драме с куплетами.

— Так я сказал, — начал он — что во втором акте представлен у меня Теньер в деревне... Он бродит между деревенскими жителями, вмешивается в их игры, пляшет с ними на лугу, а между тем изучает нравы и природу, и уже несколько чудесных картин написано им; вдруг в толпе девушек он встречает одну, в которую страстно влюбляется... ведь это очень натурально, все это могло случиться... Девушка также полюбила его... Теньер счастлив вполне как человек и как художник... Он сидит на берегу ручья и разговаривает с своей любезной об ожидающем их счастье.

Этим кончается второй акт. В третьем все

переменяется... Теньер в своей мастерской с поникшею головою. Кругом его несколько начатых и оконченных им картин... Минуты две после поднятия занавеса молчание; потом он приподнимает голову, обводит блуждающие взоры кругом — и говорит монолог о ничтожности жизни, сомневается в своем призвании, вскакивает со стула и в волнении прохаживается по сцене. Дверь отворяется, входит старичок — отец его невесты — со слезами на глазах... Теньер обнимает его, и они плачут в объятиях друг друга... Зрители еще в ожидании, что такое случилось... В эту минуту раздается погребальная музыка. «Иди за мною», — говорит Теньеру старец, вырываясь из его объятий. Они уходят... декорация переменяется... Погребальная процессия; несут гроб девушки, украшенный цветами; в этом гробе невеста Теньера... Неутешный отец и жених идут за гробом... Музыка смолкает в отдалении. Теньер является сначала мрачный, но лицо его проясняется, и он говорит вдохновенный: «Но я еще не совсем несчастен. Еще осталось ты для меня, святое искусство!..» Произнеся это, он упадает на колени, возде-



вая руки к небу, — и занавес опускается.

— Прекрасно!.. Превосходно! Я воображаю, как это будет на сцене!.. Чудо как хорошо! — раздалось вдруг несколько голосов.

Сочинитель продолжал, разрезывая жаркое:

— Я хотел изобразить в этой пьесе, как сила гения торжествует над всем.

— А скоро ваша пьеса будет играна на сцене? — спросил измайловский офицер.

— Недели через три. Теперь разучивают роли.

— Коля! надо будет его вызвать, — шепнул чиновник военного министерства другому чиновнику, сидевшему рядом с ним...

— Господа, за бокалы! — закричал хозяин дома. В руке он держал бутылку полушампанского... Пробка щелкнула в потолок. — Шипучка, шипучка важнейшая! Это вам за сегодняшнюю работу!

И полушампанское заиграло в бокалах...

— Молодца вырастили! ей-богу молодца! да он у нас сегодня просто очаровал всех, — говорил на крыльце хозяин дома, провожая Матвея Егорыча с Настасьей Львовной и уда-

ря Владимира Матвеича по плечу, — вот будет тебе, Матвей Егорыч, кормилец под старость... Да, укутайся, брат, хорошенько... вот так... бесподобно. Прощайте, матушка Настасья Львовна... прощайте...

Николай Петрович говорил правду. Владимир Матвеич на этом бале всем необыкновенно понравился, особенно после соло, и почти все единогласно говорили про него: «Ах, какой прекрасный молодой человек!»

В четыре часа все семейство Матвея Егорыча, утомленное после бала, начинало засыпать.

Матвей Егорыч, засыпая, думал: «Ну, я провел вечер все-таки не даром и выиграл хоть немного, а все-таки выиграл...»

Настасья Львовна, засыпая, думала: «Теперь все в Петербурге будут говорить о том, что у меня отличные бриллианты, потому что все дамы не могли налюбоваться фермуаром, который я брала у Носковой. Пусть себе думают, что это мой...»

Анна Львовна, засыпая, думала: «Верно, он (под этим местоимением она разумела измайловского офицера) имеет на меня виды: неда-

ром же он танцевал со мною мазурку и говорил так двусмысленно... Ах, если бы...»

Владимир Матвейч, засыпая, думал: «Какая миленькая... какие глазки... и как говорит!.. Что ж такое, что купеческая дочка?.. Ведь отец-то ее почетный гражданин... двадцать тысяч дохода!.. Больше тысячи пятисот в месяц... Славно, черт возьми!..»

Одна Маша очень крепко заснула от усталости и ни о чем не думала.

# Глава V

## О том, каким страшным соблазнам подвергается молодой человек, вступающий в свет

Всю ночь Владимиру Матвейчу снилась дочь почетного гражданина Рожкова, что будто бы он жених ее и за ней дают сто тысяч приданого, кроме ежегодного дохода; что будто бы он уже муж ее — и перед ним анфилада комнат и длинные зеркала, и он глядится в эти зеркала, и у него Станислав на шее.

Владимир Матвейч проснулся получасом позже обыкновенного, напился чаю, выкурил трубку «Жукова» и, мечтая о девице Рожковой, отправился в департамент.

В департаменте он получил от одного из своих товарищей — человека с хорошим состоянием, записку следующего содержания:

«Любезный друг Володя. В воскресенье мы собираемся покутить; надеюсь, что и ты не откажешься быть в числе наших. Приходи ко мне с утра; мы прогуляемся по Невскому, а

потом отправимся к Фельету. С нами, между прочим, будут кое-кто из литераторов: ZZ, Т\* и К\* и еще один славный мальй, с которым я тебя познакомлю.

Твой Р-в».

В воскресенье утром на Невском проспекте народа не перечесть! Скромные немочки, Маргариты молочного цвета, с молитвенниками в руках, только что из церкви; дородные русские купчихи в дорогих мехах, с улыбкой, с черными зубами и с толстыми мужьями, только что от самовара, в дорогих шубах; молодые и старые, величественные и поджарые, испытые и жирные чиновники разных сортов: и те, которые не снимают с своих плеч вицмундира, и те, которые отзываются о вицмундире с презрительной улыбкой, и те, которые не имеют еще орденов и потому закутываются, и те, которые отважно выставляют на мороз грудь свою, увешанную орденовскими знаками; дамы и девицы среднего сословия с гордыми взорами, а сзади их лакеи с аксельбантами и с заплатами на ливреях. И много, много еще разных лиц... И среди этой разнообразной и разноцветной толпы — усы, пре-

лестные усы, завитые в кольца... И над этой разнообразной и разноцветной толпой роскошно колеблющиеся белые и черные султаны, от которых замирают и трепещут сердца барышень... Очаровательный Петербург! гранитный и чиновный город! нет подобного тебе города на земном шаре... по холоду, сырости и скуке.

Владимиру Матвейчу, несмотря на тесноту, было очень приятно гулять по Невскому проспекту... Глаза его разбегались от предмета к предмету... Бобровые воротники с проседью, сани под ореховое дерево, рысаки, барышни, малахиты, имбирное варенье, бронзы, страсбургские пироги, картины в окнах, устричные раковины, прибитые к дверям и валяющиеся у дверей, — повсюду роскошь, растрavляющая страсти, повсюду блеск, ослепляющий глаза, и к тому же солнце... Владимир Матвейч чувствовал, что жизнь блаженство, если есть средства пользоваться жизнью. За день до этого он воображал себя богачом, потому что в ящичке, в котором он хранил накопленные деньги, лежало 25 рублей ассигнациями, — теперь, глядя на все это,

он показался самому себе нищим... Уже легкая тень неудовольствия готова была мелькнуть на лице его, но он подумал: «что ж такое? не все родились богачами: трудись, хлопочи, пробивай себе дорогу! употребляй все средства... и у тебя со временем будут бронзы, малахиты и рысаки, барышни, имбирное варенье и страсбургские пироги...» Он обтер губы при этой мысли и улыбнулся... Образ дочери почетного гражданина Рожкова снова мелькнул перед ним.

Вдруг в эту минуту вдали показалось ему кругленькое, курносенькое, разруганное морозом личико, в шляпке с цветком и блондой; потом открылась и фигурка, принадлежащая этому личику, в салопе темно-бурой лисицы с собольим воротником, — и возле этой фигурки фигура в енотовой шубе. У Владимира Матвеича захлебнулось дыхание: это она!.. Он поравнялся с нею и снял шляпу. Она отвечала на этот поклон мило и приветливо, а папенька ее в енотовой шубе приподнял сзади свою шляпу, потер рукой свой подбородок, впрочем, без бороды, и сказал: «мое почтение-с». Владимир Матвеич был в восторге

от такого внимания и даже решил в эту минуту в случае нужды спросить за обедом бутылку шампанского на свой счет.

По следам дочери почетного гражданина Рожкова шел господин Зет-Зет. На нем был сюртучок на вате, фиолетового цвета, с брандебурами и талиею, очень хорошо приносившей портным; шея его опутывалась красным шерстяным вязаным шарфом с зелеными каймами и кисточкою; шелковая шляпа его приятно лоснилась, а на ногах блестели калоши с резиновыми застежками — довольно остроумная выдумка какого-то сапожника.

— Здравствуй, душа моя, — сказал он, положив руку на плечо товарища Владимира Матвеича.

— Je vous salue, m-r! — сказал он, обращаясь к Владимиру Матвеичу.

— Bravo, да ты таким франтом! что за сюртучок — чудо! — заметил ему товарищ Владимира Матвеича, останавливаясь, — обернись-ка назад.

Господин Зет-Зет заметно смешался.

— Ничего нет особенного... что ты находишь... сюртук как сюртук... Еще обедать ра-



но; можно еще раз повернуть от Полицейского моста. Как ты думаешь, душа моя?

— Ну, разумеется.

И с новым спутником они отправились далее.

В этот раз господин Зет-Зет показался Владимиру Матвеичу немного странным: он не нашел в нем той литературной самоуверенности, которая проявлялась в каждом слове, в каждом движении его на бале у Николая Петровича. Впрочем, лишь только они пришли в трактир и лишь только г. Зет-Зет снял с себя фиолетовый сюртук, то сделался гораздо развязнее и тотчас же заговорил о том, что он пишет нравоописательную статейку под заглавием: «Чувствительное путешествие по Невскому проспекту, или От сотворения мира и до наших времен люди не изменились».

В четыре часа собралось все общество; в этом обществе были два новых лица для Владимира Матвеича: один молодой литератор, полный и чрезвычайно красивой наружности, говоривший горячо, с жаром, и размахивавший руками... Он принадлежал не к той партии, в которой находился Зет-Зет, и пото-

му они обошлись между собой довольно холодно. Новоприбывший литератор смотрел даже на Зет-Зета с некоторой иронией, потому что занимался высшим родом литературы. Другое новое лицо для Владимира Матвеича было существо низенького роста с черными маслянистыми глазами, с щеками малинового цвета и с бриллиантовым перстнем на пальце — существо довольно загадочное. Оно служило в каком-то департаменте, «в должность ходило» редко и получало только 450 рублей жалованья в год; в формулярном списке его не значилось за ним никакого состояния; но это существо нанимало квартиру в 2500 р., меблированную превосходно, с канделябрами, зеркалами и бронзами, имело двух рысаков, круглые дрожки и карету.

— Кто этот господин? — спросил Владимир Матвеич на ухо у своего товарища, указывая на человека с малиновыми щеками, стоявшего к ним спиною.

— Это — Шнейд, любезный друг, славный малый: ростовщик, он берет по 50, по 60 процентов, иногда капитал на капитал, да еще с залогом. В Петербурге, говорят, процентщи-

кам раздолье. Он из жидов, а ты знаешь, что жида и армяне любят денежки... Он мне иногда дает займы, но с меня берет только 20 процентов, по знакомству; он был обязан многим моему отцу. Я и вчера еще занял у него 500 рублей.

«По 20, по 50, по 60 процентов!.. — подумал Владимир Матвейч, — стало быть, надобно только иметь небольшой капиталец...»

Стол был накрыт в особой комнате. Чиновник военного министерства и инженерный офицер, ранее всех явившиеся в трактир, успели уже перед обедом надымить всю комнату: они затянулись раз шесть или семь.

В половине обеда Владимир Матвейч познакомился и с литератором красивой наружности, и с ростовщиком. Литератор красивой наружности и Зет-Зет все кричали, спорили и пили.

— Водевиль, что такое? игрушка, шалость, — говорил литератор красивой наружности, прихлебывая портер и обращаясь к Зет-Зету и к Владимиру Матвейчу с улыбкою, — водевиль — острота, каламбур, пена шампанского, литературные брызги. В воде-

виле только куплеты; тут не требуется ни характеров, ни ситуаций, словом, никакой обдуманности, вовсе не нужно этого, как говорит Кукольник...

— Позвольте! — перебил его Зет-Зет, немного обидясь, — водевиль водевилю рознь. Я не спорю: есть водевили, и по большей части, пустые, вздорные, но могут быть и такие, что...

— Согласитесь в одном: ведь в водевиле осмеивают только современные нравы, по большей части нападают на бедных чиновников, и я не понимаю за что... В этом предмете нет никакой поэзии...

— Ах! я вам скажу, — воскликнул вдруг товарищ Владимира Матвеича, глядя на Зет-Зета, — у нас есть два чиновника в нашем отделении, то есть просто смех; вот бы вам описать их.

— Шампанского! — закричал угощавший, обращаясь к Зет-Зету, — за успех твоего «Теньера».

— Ах жаль, что нет здесь Кукольника, — сказал повествователь, — вот душа-то холодных сходок. С ним выпьешь всегда втрое

больше. Да полноте, господа, перестанемте говорить об литературе, черт с ней! она нам и без того надоела; поговоримте лучше о чем-нибудь поумнее.

Владимир Матвеич захохотал: так ему показалось мило и остроумно последнее замечание. В другое время он не решился бы, может быть, и улыбнуться, по чувству приличия, но в эту минуту он был в таком невообразимо приятном состоянии, ему было и легко, и вольно, и тепло, и весело; никогда еще он не ощущал ничего подобного. Девушка Рожкова опять предстала его разыгравшемуся воображению — и еще в каком-то идеальном свете, а шампанское при свете ламп пенилось и звездилось в его бокале... голова его немножко начинала кружиться...

— Бутылку шампанского! — закричал он.

— Вот это умная речь! — заметил повествователь. Водевильист насмешливо улыбнулся.

— Уж кутить, так кутить. Я женюсь, так и быть... — запел чиновник военного министерства хриплым голосом.

— Жукова! — закричал инженерный офицер и крякнул, выпив залпом бокал; потом,

когда трубка была принесена, затянулся и выпустил изо рта страшное облако дыма.

Бутылка за бутылкой откупоривались; ростовщик задремал; Владимир Матвеич, шевеля губами, рассчитывал, на сколько выпито шампанского, и никак не мог рассчитать, потому что цифры у него перепутывались в голове...

Был час десятый.

— Не поехать ли туда, господа? — закричал угощающий, — как вы думаете?..

— Браво! — закричал повествователь, — туда!

— Туда! — повторил инженерный офицер басом и снова затянулся, прищелкнув пальцем.

— Куда это? — спросил Владимир Матвеич.

— В один знакомый нам дом, — отвечал его товарищ. — Мы и тебя, кстати, представим... Ты еще незнаком в этом доме.

— А что, там есть дамы?

— Есть, как же!

— Пожалуй, — прошептал Владимир Матвеич, — хорошо, что я во фраке, а то к дамам неловко в сюртуке, еще в первый раз... —

И он начал шарить в карманах, ища свои белые перчатки, которые у него всегда были в запасе.

Когда принесли счет и когда угощавший начал расплачиваться, Владимир Матвеич закричал:

— Вот за мою бутылку! — и протянул руку с десятирублевой ассигнацией.

— Как твоя бутылка? за все заплачено.

— Ну, пожалуй! — сказал Владимир Матвеич и спокойно положил ассигнацию в карман.

— Едем, едем, господа!

И все поднялись с своих мест и начали искать шляпы.

Владимир Матвеич сел в сани с своим товарищем, который угостил их обедом. Сани помчались, но он никак не мог разобрать, по каким улицам; наконец в каком-то узеньком переулке, у ворот деревянного одноэтажного домика, кучер сдержал лошадь.

Они через калитку вошли на двор и очутились у подъезда деревянного домика.

Товарищ Владимира Матвеича позвонил, дверь отворилась, человек снял с них шубы.

Они вошли в следующую комнату. У самого порога встретила их хозяйка дома — старушка лет семидесяти пяти, сторбленная, худощавая, морщиноватая, в чепце, из-под которого торчали седые волосы, с небольшими седыми усиками и бородкой, которая беспрестанно шевелилась от движения ее нижней губы.

— Здравствуйте, мой миленький! — сказала она, протягивая руку к товарищу Владимиру Матвеича. — Ох, ох, ох!..

— Рекомендую вам моего товарища, Завьялова.

— Очень рада, миленький, очень... Ох-ох! Пожалуйте сюда...

И старушка, кряхтя и охая, повела их в следующую комнату.

Владимир Матвеич до сих пор был как во сне. И только когда товарищ его подвел к старушке, он очнулся и с удивлением посмотрел кругом себя...

Комната, в которую ввела их старушка, была такая же маленькая, как и первая. У передней стены ее стоял широкий диван, а перед диваном — овальный стол... По обеим сторо-



нам этого дивана расставлены были кресла, и в этих креслах сидели «племянницы старушки», барышни, очень нарядно одетые. Они скромно взглянули на вошедшего незнакомца и потом, когда он учтиво раскланялся им, улыбнулись и посмотрели друг на друга.

— Милости прошу садиться... Что вы, миленький, у меня давно не были?.. Ох-ох!..

Старушка сама села на диван и начала раскладывать гран-пасьянс, исподлобья поглядывая на Владимира Матвеича и шевеля бородкой... Товарищ Владимира Матвеича был совершенно как у себя в этом доме; он без церемонии подсел к одной из «племянниц», которую назвал Катериной Яковлевной, и начал с нею любезничать...

Он что-то говорил ей очень долго и много, а она все улыбалась и повторяла ему:

— Да полноте? Что это вы? Какой, право!..

— У меня Катенька умница, — ворчала старушка, — у нее...

Речь старушки была прервана звонком.

— Это он! — сказала одна из барышень.

— А нет, не он, — отвечала другая.

— Ну, побьемся об заклад...

Старушка сердито взглянула на спорящих, и они замолчали.

Владимир Матвеич не постигал, что с ним делается; у него сердце так и замирало; ему как-то было страшно и дико, несмотря на гостеприимство почтенной старушки с бородкой и простое, радушное обращение барышень, особенно Катерины Яковлевны, которая очень понравилась ему. Он обрадовался, когда вошли в комнату наши знакомцы: два литератора, инженерный офицер, чиновник военного министерства и ростовщик... Владимир Матвеич вмешался в толпу.

— Как похожа Даша на граведоновскую Лауру! — сказал повествователь, обращаясь к нашему герою и указывая на одну из барышень, — две капли воды. Не правда ли?

Владимир Матвеич поднял голову и увидел живой портрет своей тетки, Анны Львовны, — барышню с таким же большим носом и с напудренным лицом.

— Да, есть сходство, — отвечал Владимир Матвеич, посматривая на часы.

— Лаура! настоящая Лаура! — воскликнул повествователь, — я хоть и не похож на Пет-

рарку, — продолжал он, самодовольно улыбаясь, — однако, пожалуй, стану от нечего делать разыгрывать его роль.

И он уже сделал шаг, подвигаясь к Лауре, как увидел в другой комнате, на стене, длинную тень человека в длинном сюртуке... И лукаво улыбнувшись, он переменял свое намерение и побежал за этой тенью.

Через пять минут незаметно все исчезли. В гостиной осталась только старушка, ростовщик и Владимир Матвеич. Старушка дружески разговаривала о чем-то с ростовщиком и, окончив разговор, снова села на диван, принялась за карты и посмотрела на Владимира Матвеича, у которого замер дух.

— Не родня ли вам Завьялов, в комиссариате служит? Ох, ох!..

Владимир Матвеич покраснел.

— Это мой дядя, — отвечал он вполголоса.

— Кто, дядюшка? ох-ох... славный был человек, любил меня, часто ездил. Ох... А где же он теперь?

— В Одессе.

— Жаль, жаль... он бы и теперь все ездил ко мне... а какая у него была славная супру-

га... belle-femme. Такая полная... он вдовцом-то уж лет двадцать... Ох-ох...

Ростовщик подошел к Владимиру Матвейичу.

— Не угодно ли вам со мной ехать? Позвольте, я вас довезу до дому.

Владимир Матвейич обрадовался и схватил шляпу. Он, кажется, ожидал появления Екатерины Яковлевны и потому не решался уйти; но время летело, и она не появлялась — нечего было делать, а сидеть со старушкой ему было как-то неловко.

— Милости просим ко мне... всегда... ох!.. Я очень рада... — ворчала старушка, провожая их.

Выходя, Владимир Матвейич увидел из каких-то боковых дверей высунувшуюся фигуру инженерного офицера, пускавшего из рта тучу дыма.

— Куда вы, господа? — закричал он басом, — бежать!..

Владимир Матвейич схватил свою шубу и выбежал на улицу, не оглядываясь. Ростовщик насилу догнал его.

— Не угодно ли садиться? — вот сани, —

сказал он улыбаясь, — старушка-то эта добрая, только, признаюсь, я не охотник бывать у нее. Ведь вы в Садовой изволите жить? Нам по дороге, кажется. Я ваш сосед. Прошу о продолжении знакомства.

Мысли Владимира Матвеича начали немного проясняться: он облегчил себя вздохом.

— Покорно вас благодарю, — отвечал он, — милости прошу ко мне, я очень рад...

Рысак ростовщика быстро домчал Владимира Матвеича до дома.

— До приятного свидания, — проговорил ростовщик.

— Покорно вас благодарю; прощайте...

Старушка сделала такое сильное впечатление на Владимира Матвеича, что недели полторы после этого вечера ему все мерещилась она и ее шевелящаяся борода.

Изредка также сильно смущала его мысль о черноглазой Катерине Яковлевне.

**Глава VI,  
из которой, между прочим,  
можно усмотреть, что у  
благонадежных чиновников  
служба никогда не выходит  
из головы и сердца и что  
самые неожиданные  
обстоятельства  
покровительствуют  
прекрасным людям**

Дня через два после этого замечательного для Владимира Матвеича вечера отец его пришел из департамента в особенно приятном расположении духа. Он все ходил по зале, загнув руки назад и моргая глазами. Когда же Настасья Львовна вошла в залу, он подошел к ней и с особенным выражением поцеловал ее руку.

— Поздравьте меня, душечка.

У Настасьи Львовны засверкали глаза.

— Что... денежное награждение?

— Нет, Настасья Львовна, дороже всякого денежного награждения, ей-богу, дороже... Сегодня я в присутствии разрюмился, как дурак! И столоначальник, и начальник отделения Володеньки, и даже сам директор такие рассыпали похвалы Володе... Говорят: «прекраснейший молодой человек, старательный, ученый, такая сметка у него во всем»; а его превосходительство прибавил: «воспитание его делает вам честь; я назначил его старшим помощником столоначальника». Вот что, Настасья Львовна!..

— Да я не понимаю, с чем же вас-то поздравлять?

— Как с чем? — да ведь, я думаю, я отец его; разве отцу не награда, когда хвалят его дитя? — разве у меня каменное сердце, Настасья Львовна?..

И Матвей Егорыч снова заходил по комнате. На глазах его дрожали слезы, а лицо сияло улыбкой.

— Бог с ними совсем, денежное награждение, — продолжал он. — Я становлюсь стар и слаб, а надо взять в расчет, что он заменит вам меня, когда я умру. Надо подумать о

смертном часе!

— Слава богу! я рада за Вольдемара, — сказала Настасья Львовна. — А сколько он будет получать жалованья?

— Тысячу шестьсот рублей... Это для такого молодого человека чудесно; я в его лета...

Настасья Львовна пошла сообщить об этой радости сестрице, а Маша подошла к отцу поздороваться с ним.

— Здравствуй, Маша, — сказал Матвей Егорыч, глядя ее по голове, — здравствуй. И ты у меня доброе дитя... Маша, поди сюда.

Матвей Егорыч отвел ее в угол комнаты и, озираясь во все стороны, с некоторою боязнью, но переполненный чувством, вынул из кармана бумажник и достал из него пятнадцать рублей.

— Маша, вот тебе... купи, друг мой, себе платочек или что тебе нужно... да не говори об этом матери... Возьми, Маша...

Маша поцеловала руку отца и сказала ему робким голосом:

— Я люблю вас, папенька, очень люблю.

— Хорошо, Маша, хорошо, я верю. Смотри же, чтоб мать не знала о моем подарке...



Скоро явился и Владимир Матвейч — виновник общей радости. Настасья Львовна обнимала его, а он попеременно целовал ручки то у нее, то у отца и говорил:

— Мой долг утешать вас.

Анна Львовна при его входе сказала:

— Же ву фелисит.

По случаю получения Владимиром Матвейчем места старшего помощника столоначальника Анна Львовна присоветовала сестре дать парадный званый вечер: ей смертельно хотелось потанцевать, и особенно с офицером, который был пропитан «Жуковым». (Говорят, будто все пожилые девушки очень любят табачный запах.) Она также уверила Настасью Львовну, что ей необходимо сшить к этому вечеру новое платье и купить новый чепец, потому что все другие чепцы на ней уже видели. У Настасьи Львовны не было денег; но она через свою торговку достала несколько сот рублей, под залог фермуара, у того самого ростовщика, с которым так нечаянно сошелся Владимир Матвейч.

Между тем герой наш познакомился с Рожковыми и был приглашен к ним по понедель-

никам на танцы.

Настасья Львовна, узнав о новом знакомстве сына, тотчас догадалась, что он неравнодушен к дочери почетного гражданина, и обрадовалась этой догадке. «Он женится, — подумала она, — и будет жить вместе с нами или мы переедем к нему, я буду управлять всем... буду ездить в карете четверней... заказывать все мадам Сихлер... в свете будут говорить обо мне... я заплачу все долги свои...»

Розовая будущность открывалась пятидесятидвухлетнему воображению статской советницы, и очарованная мечтами, полная надежд, она ни в чем не отказывала ни себе, ни Анне Львовне.

В понедельник, раздушенный и распомаженный более обыкновенного, Владимир Матвеич отправился на извозчике в Болотную улицу, что близ Ямской. Дорогой он все думал о том, как хорошо иметь двадцать тысяч дохода и как можно различными оборотами к двадцати прибавить по крайней мере десять... Черные глаза соблазнительной Екатерины Яковлевны мелькнули перед ним в тумане, как две звездочки.

Приятно мечтая, он катился в санях незаметно, и уже извозчик его поворотил в Болотную улицу, как вдруг мурашки пробежали по всему телу Владимира Матвеича; он схватил извозчика за руку в испуге и закричал страшным голосом:

— Стой!

Извозчик остановился.

— Назад, назад! — поворачивай... в Садовую! — продолжал кричать Владимир Матвеич, совершенно расстроенный. — Пошел скорей, скорей!..

Но я должен объяснить причину такого внезапного испуга. Утром этого дня он сочинял и потом переписывал одну министерскую бумагу, в которой беспрестанно должно было повторяться: «вашим сиятельством», «вашего сиятельства», «вашему сиятельству». Владимиру Матвеичу вдруг, уже при самом повороте в Болотную улицу, показалось, что он вместо «сиятельства» везде написал — «превосходительство», и эта-то бумага, вероятно, не замеченная ни начальником отделения, ни директором, с такой страшной, неизвинительной ошибкой, отослана вместе с

другими к министру для подписания!.. «Боже мой, — думал Владимир Матвеич, — моя репутация, моя трехгодовая репутация! И в то время, когда я получил место старшего помощника столоначальника мимо младшего! И что скажет министр?..» Сердце его стонало и разрывалось... Он воротился назад, в департамент, чтобы взглянуть на отпуск и на черновую бумагу, в которой было слишком много помарок и которую он поэтому, разодрав пополам, бросил в ящик, находящийся под столом... А у Рожковой теперь танцуют... и, может быть, в эту минуту кто-нибудь волочится за Любовью Васильевной (так звали девицу Рожкову), и может быть...

Тут мысли Владимира Матвеича совершенно смешались... ему вдруг сделалось жарко, нестерпимо жарко, хотя в этот вечер было 12 градусов мороза.

Вбегая по лестнице департамента, он два раза споткнулся, туман застилал глаза ему. В дежурной комнате в одном углу храпел сторож, а в другом, у печки, канцелярский чиновник, присвистывая, читал «Три водевиля», изданные Песоцким.

Увидев Владимира Матвеича, внезапно явившегося в шубе, осыпанной инеем, дико озиравшегося кругом, канцелярский чиновник вскочил со стула и подбежал к нему с вопросом:

— Какими судьбами-с, Владимир Матвеич-с?

— Мне нужно здесь бумаги, — отвечал сухо Владимир Матвеич.

И начал будить сторожа:

— Брызгалов! Брызгалов!

— Чего изволите, ваше благородие?

Брызгалов вскочил, вытаращив глаза.

— Ты не выбрасывал бумаги из ящика, который под нашим столом?

— Никак нет, ваше благородие.

— Свечку!..

Владимир Матвеич с нетерпением бросился к ящику и принялся в нем шарить. Найдя разодранную черновую бумагу и сложив ее на столе, он быстро стал пробегать ее глазами... Краска постепенно возвращалась на его щеки, глаза его принимали постепенно выражение тихое, веселое... Он улыбнулся и, бросая бумагу опять в ящик, сказал вполголоса:

— С чего же мне это пришло в голову?..  
Случаются же этакие странности!..

И Владимир Матвейч выбежал из департамента, вскочил в сани и закричал:

— Пошел, пошел туда же!

«Эх, досадно, что попусту ворочался, — думал он, — теперь, верно, все духи выдохлись из платья и от меня ничем не будет пахнуть. Да и на извозчика, черт знает для чего, проездил лишние».

Вечер у Рожкова он провел не совсем приятно, хотя и танцевал много. Любовь Васильевна несколько раз смотрела на него томно, но она еще томнее смотрела на Зет-Зета и с Зет-Зетом танцевала мазурку. Явно было, что водевилист мешал старшему помощнику столоначальника и не на шутку увивался за прелестной дочкой почетного гражданина. Это начало сильно беспокоить нашего героя, тем более что он знал, каким необыкновенным даром слова владеет Зет-Зет. Ко всему этому почетный гражданин, казалось, гордился тем, что у него в доме «сочинитель», и угощал его более других, особенно малагой. Зет-Зет прихлебывал малагу, поданную вско-

ре после чая, рассказывал о своей дружбе с каким-то князем, о том, что его сочинения переводят на немецкий язык, что все актеры в восторге от его драмы с куплетами и что хоть остался еще один день до представления, но в кассе Александрийского театра только шесть кресел и несколько лож; непроданных; остальное все расхвачано. При этом Зет-Зет предложил почетному гражданину ложу в первом ярусе.

Почетный гражданин потер от удовольствия подбородок и закричал ясене, подняв руку с билетом:

— Надежда Мосевна, видишь что! поблагодари благодетеля-то.

Такого рода происшествия совсем было опечалили Владимира Матвеича, и если бы не томные взгляды, брошенные на него украдкою, он потерял бы все свои надежды...

Однако при разезде он все-таки грустно взялся за свою шляпу...

— Владимир Матвеич, вы будете послезавтра в театре?

Голос, произнесший слова эти, показался ему небесным голосом...

— Ах, это вы, Любовь Васильевна?

— Я-с. Что же, вы будете в театре?

— Не знаю, может быть...

— Почему же не знаете? Приезжайте, пожалуйста, приезжайте, хоть для меня.

— В таком случае я непременно буду, — значительно сказал Владимир Матвеич.

Любовь Васильевна наградила его приятнейшей улыбкой и грациозным наклонением головы.

Это неожиданное приветствие ободрило Владимира Матвеича; он возвратился домой в веселом расположении и приказал человеку чем свет отправиться в кассу Александрийского театра и взять билет на представление «Теньера».

Утром, когда человек отдавал ему билет, он спросил у него:

— Что, я думаю, у кассы-то драка?

— Какая драка, сударь?

— Ну, много народа приходило за билетами?

— Нет-с, я один был.

— Как, разве все билеты распроданы?

— Да там говорят, что совсем мало берут-с.



Владимир Матвеич прищелкнул языком и подумал: «Эге! да сочинителям-то не всегда верить можно; они, видно, так же, как наша братия чиновники, любят прихвастнуть...»

С нетерпением ожидал Владимир Матвеич семи часов следующего дня... Еще с самого утра он тщательно вырезал афишку и в половине седьмого отправился в театр.

Владимир Матвеич приехал за десять минут до поднятия занавеса; человек не обманул его; много лож, много кресел было пустых. В двойную трубку Владимир Матвеич начал обозревать ложи первого яруса. Семейство Рожковых было уж тут.

Зет-Зет сидел сзади в их ложе, а все знакомые его в партере, как-то: инженерный и измайловский офицеры, литератор приятной наружности и другие. Любовь Васильевна, нарядно одетая и в бриллиантах, улыбаясь, разговаривала с Зет-Зетом.

Владимир Матвеич три раза принимался ей кланяться, но она не замечала; почетный же гражданин и супруга его очень дружески отвечали на его поклоны. Огорченный невниманием Любви Васильевны, Владимир

Матвеич сел в кресла.

Музыка прогремела. Занавес поднялся. Во время представления первого акта ничего сверхъестественного не случилось, кроме того, что после слов Теньера: «Жизнь — это море страданий... поверхность ее гладка, привлекательна, а на дне — гады!» — какой-то господин во все горло воскликнул: «Прекрасно сказано!..» Два раза заставили повторить куплет:

*Изящного толпа не понимает,  
Высокого чуждается душой  
И гению ни в чем не сострадает.  
Не дорожит избранника слезой...  
Пустая чернь, глупцы и лицемеры!*

*В вас ничего возвышенного нет:  
Вы знаете ль, что Рубенсы, Теньеры  
Являются лишь изредка на свет?*

Очень много аплодировали также, когда Теньер в конце акта с диким хохотом убегает со сцены, при этом голос инженерного офицера возвышался над всеми голосами, а чиновник военного министерства хлопал всех

сильнее и далее стучал креслом. Зет-Зет торжествовал. Владимир Матвейч и в междудействии еще раз поклонился Любви Васильевне, — она хотя в этот раз и отвечала ему на поклон, но холодно, и он, вместо того чтоб идти к ней в ложу, отправился в буфет выпить чаю. В буфете ораторствовал литератор приятной наружности.

— Как это глупо и пошло выставлять художников какими-то неземными существами!.. Поверьте, что и Байроны, и Шиллеры, и Рафаэли были такие же люди, как и мы грешные, так же ели ростбиф, пили пиво, спали. Давайте нам человека, какой он есть, со всеми его достоинствами и недостатками. Надобно, чтоб лица в драме были выпуклы, полны, чтоб на них видна была наша кожа, наши кости, чтоб виден был этот зонд, который автор впускает в сердце человеческое... Да, впрочем, господа, чего же путного ждать от водевилиста? Все слушавшие литератора приятной наружности захохотали.

— Но эти аплодисменты, — продолжал литератор с презрительной улыбкой, — явная кабала: весь партер набит его знакомыми; он,

говорят, всем им развез даром кресла...

Владимир Матвейч, докушавший в эту минуту свой чай, хотел идти; но инженерный и измайловский офицеры, предшествуемые и сопровождаемые тучами табачного дыма, заградили ему дорогу.

— Послушайте, почтеннейший, — говорил инженерный офицер басом, — надо хлопать больше; автора непременно надо вызвать... Посмотрите, вот я уже после первого акта отбил себе все ладони и охрип совсем.

— Пожалуйста, вызывайте автора, — заметил измайловский офицер.

— Очень хорошо, непременно, — отвечал Владимир Матвейч и сошел вниз.

Во втором акте партер заметно разделился на две партии. Инженерный и измайловский офицеры, чиновник военного министерства и несколько их приятелей кстати или некстати хлопали изо всех сил. Другая, многочисленнейшая партия, под предводительством литератора приятной наружности, шикала немилосердно. Владимир Матвейч присоединился к последним, хотя они и не просили его об этом, и потихоньку принялся усердно им вто-

ритель. Партия шикающих уничтожила бы тотчас партию хлопающих, если бы не инженерный офицер, который поддерживал энтузиазм страшными, нечеловеческими звуками, исходившими из его гортани. Но все усилия его были тщетны. По окончании второго акта он закричал диким, неистовым голосом: «Автора!» Это было последнее его усилие: одинокий и хриплый голос его, не найдя отголосков, замер в пространстве залы. Владимир Матвеич ожил; он взглянул на ложу почетного гражданина: Зет-Зета уже не было, в ложе — и герой наш решился туда отправиться. Он был принят семейством Рожкова превосходно, ласковее, чем когда-нибудь. Любовь Васильевна смотрела на него не просто томно, но даже с нежною томностию. Владимир Матвеич, как человек тонкий, спросил о Зет-Зете.

— Не удалось малому-то! — отвечал почетный гражданин улыбаясь, — больно много шикали и совсем оконфузили пьесу, да и пьеса-то неважная, а он нам нахвастал об ней с три короба.

— В первом акте точно много прелестно-

го, — сказала Любовь Васильевна, — но второй акт скучен.

Любовь Васильевна с ранних лет читала романы, и это чтение сделало ее очень чувствительною; на всех купцов она смотрела с пренебрежением, и сделаться женою сочинителя, но, разумеется, сочинителя торжествующего, а не ошikanного, — это была любимая мечта ее. Следовательно, успех Зет-Зета мог быть пагубным для Владимира Матвеича; но Владимир Матвеич родился в счастливую минуту, и судьба при самом рождении его дала самой себе слово быть его тайной покровительницей.

Она-то, вероятно, устроила так, что драма «Давид Теньер с куплетами, фламандскими танцами и проч., и проч.», несмотря на свое достоинство, окончена была при торжественном шиканье — и ни один актер не был вызван, чего почти еще не случалось на Александрийском театре с самого его основания.

Владимир Матвеич весь последний акт просидел в ложе почетного гражданина и при выходе из ложи был осчастливлен таким взглядом, в котором прочитал и гибель своего

опасного соперника, и собственный успех. Этот взгляд открыл перед ним бесконечную перспективу...

**Глава VII,  
представляющая  
неопровержимые  
доказательства, что в  
Петербурге все  
добродетельные и  
прекрасные люди всегда  
имеют успехи и  
награждаются**

**У**же таинственная завеса, сначала скрывавшая от глаз Владимира Матвеича некоторые стороны жизни, мало-помалу начала приподниматься; жизнь переставала быть для него загадкой. Говоря о «жизни», я разумею здесь только «петербургскую жизнь», потому что насчет существования другой какой-либо жизни Владимир Матвеич не имел ни малейшего подозрения. Он не мог себе представить, чтобы на свете было что-нибудь лучше Петербурга. Один действительный статский советник, говоря о Петербурге, ост-



роумно заметил, что это такой «городок, в котором есть все, что угодно, кроме птичьего молока». «А я так полагаю, ваше превосходительство, — возразил Владимир Матвеич, — что с деньгами в Петербурге легко достанешь и птичье молоко».

И Владимир Матвеич тщательно хлопотал об умножении своих доходов; он выручил капитал своей тетушки по ее поручению от того лица, у которого он находился, и отдал этот капитал ростовщику с малиновыми щеками и с масляными глазами на 18 процентов, из которых отдавал тетушке 10, а себе удерживал 8. Он сошелся с этим ростовщиком как нельзя короче и просил его, стороной и подробнее, разведать о приданом Любви Васильевны.

Между тем постоянно в продолжение восьми месяцев, считая со дня представления «Давида Теньера», раз в неделю он посещал дом Рожковых — и сделался почти необходимым лицом в этом доме. Почетному гражданину он рассказывал о своей службе, о директорах, министрах, статс-секретарях... Почетный гражданин слушал его почти не переводя дух

и не мог наслушаться. Супруге почетного гражданина он привозил поваренные книги, потому что она была большая охотница до кухни; Любви Васильевне — романы, французские и русские; читал с нею различные стишки, большею частью любовные, и говорил, что «на земле высочайшее блаженство — взаимная любовь».

Он угождал также и тетушкам и бабушкам Любви Васильевны; все семейство почетного гражданина было от него в восторге; но для Любви Васильевны он сделался «кумиром»; она чувствовала к нему влечение самое пылкое, самое нежное.

Над Зет-Зетом же, который почти совсем перестал ходить к ним, она смеялась самым колким образом и иначе не называла его, как «освистанным сочинителем».

Семейство почетного гражданина познакомилось с семейством статского советника вскоре после этого знаменитого представления «Теньера», которое имело такое важное влияние на жизнь нашего героя, — и Любовь Васильевна украсила собой бал, данный Настасьей Львовной в честь сына. На этом бале

дочь почетного гражданина была осыпана жемчугами и бриллиантами с ног до головы, и статская советница была в таком от нее восторге, что беспрестанно повторяла почти со слезами на глазах: «Какая душка! Вот, можно сказать, девица комильфо... Как мило танцует — и какое обращение! она, я думаю, нигде не ударит себя лицом в грязь!» С этого вечера Настасья Львовна начала ухаживать за нею как за будущей своей невесткой — и заняла у почетной гражданки пятьсот рублей ассигнациями. Анна Львовна употребляла также все средства, чтоб понравиться Любви Васильевне: сшила ей собственноручно две манишки и подарила их в день рождения, называла ее «мои ами», «мои анж», восхищалась с ней вместе романами и целовала ее. Такие ласкательства не могли не обаять юной души дочери почетного гражданина, и она вскоре сделала Анну Львовну поверенною своих сокровенных мыслей.

В продолжение этого времени Владимир Матвейч познакомился со многими чиновными людьми, которые ему были нужны, выучился играть в вист и упрочил деловую сла-

ву свою в департаменте, исправляя за болезнью столоначальника его должность. Когда Матвей Егорыч, по своему отделению, явился в последнее время с докладом к директору, его превосходительство, подписывая бумаги, говорил ему с расстановкою:

— Ну, ваш сын, признаюсь, — делец... и какой умный, здравомыслящий малый... я с ним много говорил... и в вистик начинает поигрывать... и уж лучше вас играет, Матвей Егорыч... козырей не забывает... прекрасный человек! я себе сына лучше не желаю иметь...

— Слава богу, ваше превосходительство; кроме утешения, от него ничего не видал.

— Если он будет продолжать так, то пойдет далеко... А как ваше здоровье, Матвей Егорыч?

— Плохо, ваше превосходительство... хилеть начинаю. Ну, да что делать! надо лета взять в расчет.

— Не хорошо... не хорошо...

Почти в ту самую минуту, как директор имел этот интересный разговор с Матвеем Егорычем, сын его, в пустой комнате, перед департаментским архивом, вел разговор не

менее интересный с ростовщиком. Главным предметом этого разговора была Любовь Васильевна, или, лучше сказать, ее приданое. По сведениям, которые собрал ростовщик, оказалось, что почетный гражданин Рожков вел превосходно все свои торговые дела и имел значительный капитал; у одной же известной петербургской свахи ростовщик достал полную опись приданого Любви Васильевны, а из этой описи явствовало, что Рожков обязуется дать за дочью единовременно, при выдаче ее мужу, кроме всяких вещей, 60000 и выдавать зятю ежегодно по 20000 вперед за год, или по третям, или ежемесячно.

— Дело ваше, кажется, ладно, — заметил ростовщик.

— Благодарю вас, — сказал Владимир Матвеич, пожав ростовщику руку.

— За хлопоты-то вы бы мне прислали хоть дюжину шампанского, а? Да, кстати, Владимир Матвеич, я с вас вычту двести пятьдесят рублей — сваха не хотела с меня меньше взять за опись...

Владимир Матвеич немного поморщился, однако сказал: «Хорошо».

— Послушайте-ка, — продолжал ростовщик, — я давно хотел поговорить с вами, — ведь вы этого не знаете: ваша матушка надавала векселей, заложила все свои вещи. И ба-тюшка ваш тоже ничего не знает; все это она делала потихоньку, верно на счет будущей невестушки.

И ростовщик дружески потрепал Владимира Матвеича по плечу.

Владимир Матвеич закусил нижнюю губу и казался удивленным.

— Через одну женщину она занимала у меня несколько раз, — продолжал ростовщик, — вот и заемные письма. — Ростовщик вынул их из портфеля и показал Владимиру Матвеичу.

Владимир Матвеич и не взглянул на них.

— Любезнейший мой, — сказал он ростовщику, — мне очень жаль, что она так нерасчетливо ведет свои дела, но они до меня не касаются, и я не отвечаю по законам за ее обязательства...

— Гм! — перебил ростовщик, — знаю, знаю, Владимир Матвеич, вы не бросите и копейки туда, куда не следует...

Ростовщик засмеялся.

Через несколько дней после этого Владимир Матвейч объявил отцу и матери о своем намерении жениться на девице Рожковой и спросил у них благословения.

— Благословение наше всегда над тобою, дружок, — сказала статская советница, поднося платок к глазам. — Ты так умен и благоразумен, что никогда ложного шага в жизни не сделаешь. Твой выбор самый благородный во всех отношениях: она предостойная, премилая девушка.

Матвей Егорыч перекрестил сына, поцеловал его и заплакал.

— Бог да благословит тебя! — сказал он.

— Но... друг мой, — продолжала Настасья Львовна изменяющим голосом... — Ты знаешь, как я тебя люблю, ты знаешь, что ты для меня дороже всего на свете... — Она начала всхлипывать... — Неужели мы с тобой должны будем расстаться? Эта мысль сведет меня в могилу.

— Как расстаться, маменька? Я не понимаю вас.

— Мне и жизнь без тебя не в жизнь. Ах, бо-

же мой, и подумать страшно... Неужели мы будем жить розно?

— Да как же нам жить вместе? Это невозможно. Дом казенный, квартира небольшая. Мы будем всякий день видеться, маменька, — и он поцеловал ручку Настасьи Львовны.

— Так ты не хочешь жить с нами? — воскликнула Настасья Львовна в сильном нервическом расстройстве. — Это убьет меня! я заранее знаю, что убьет... Ой... ой... — И она упала без чувств в судорогах на диван, на котором сидела.

Матвей Егорыч побледнел.

— Побеги за уксусом, — сказал он сыну.

— Маша, Маша!.. Сюда, скорей...

Маша прибежала и испуганная бросилась к матери. Анна Львовна также явилась; она осторожно оттолкнула Машу и сказала ей тихонько: «вы не умеете обращаться с больными», и начала примачивать виски сестры своей уксусом.

Матвей Егорыч взял за руку сына.

— Ничего, Володя, ничего; это пройдет, не беспокойся. Что делать! Она тебя очень любит, и мысль, что должна расстаться с тобой,



показалась ей с первого раза страшною... Натурально, материнские чувства... и ведь женщины дуры: ничего не хотят взять в расчет... требуют невозможного... Что, Анна Львовна? все так же... Трите виски-то ей сильнее.

Предложение Владимира Матвеича принято было в доме почетного гражданина с всеобщей радостью, и свадьба назначена через два месяца. Недели три Настасья Львовна металась в нервических припадках и несколько раз падала в обморок; на четвертой неделе она, однако, почувствовала облегчение, занялась приготовлениями для себя различных нарядов к свадьбе и приказала сшить новое бальное платье для дочери.

За две недели до свадьбы Владимира Матвеича директор департамента, в котором служили отец и сын, получил другое назначение — и доставил Владимиру Матвеичу место столоначальника в подведомственном ему департаменте.

Свадьба нашего героя совершалась очень парадно и сопровождалась обедами и балами, на которых отличались Настасья Львовна и Анна Львовна, всякий раз появлявшиеся в но-

вых платьях. На бале Анна Львовна по-прежнему занималась измайловским офицером, пропитанным табаком, и по-прежнему надеялась пленить его сердце. Скоро, по просьбе Любви Васильевны, она переехала жить к ней; но цель ее наряжаться на счет своей новой племянницы не осуществилась, потому что Владимир Матвеич вел аккуратно счет не только своим деньгам, но даже и тем, которые он давал жене своей.

Нечего было делать в таких прискорбных обстоятельствах: Анна Львовна решилась тронуть свой капитал.

Квартира Владимира Матвеича была небольшая, но меблированная прекрасно, даже с небольшими прихотями; он завел пару лошадей, карету и дрожки, впрочем, вседневный стол имел самый умеренный и вообще зажил гораздо скромнее, чем позволяли ему новые средства.

Настасья Львовна, видя вдруг планы свои разрушенными, неожиданно покинутая сестрою, сделалась нестерпимо тяжела в домашнем быту и беспрестанно ворчала на дочь и на мужа. Долги начинали сильно беспокоить

ее, однако она еще не потеряла надежды, что сын возьмет на себя уплату по ее заемным письмам. В следующей главе мы увидим, до какой степени осуществились эти надежды.

**Глава VIII,  
располагающая к  
размышлению о том, что  
жизнь человеческая  
преисполнена горестей, бед,  
различных зол, лишений,  
болезней и проч., и проч**

**У**же более двух лет Владимир Матвеич наслаждался супружескою жизнью; у него был капитал в шестьдесят тысяч, который он пустил в оборот, получал от тестя двадцать тысяч ежегодно вперед, вместе с ростовщиком скупил по двадцати пяти копеек за рубль все почти векселя своего товарища, который некогда угощал его у Фёльета, и через полтора года, по продаже имения заемщика, получил рубль за рубль. Но жил он все так же скромно, как и при начале женитьбы; только в месяц два раза у него обедали и после обеда играли в вист его директор и еще несколько значительных чиновников, и в эти дни за столом его показывалась даже роскошь: вина

из английского магазина и шампанское Крeман, которое в то время было в большой моде. С женой он обращался почтительно и ласково, изредка вывозил ее в театр и на балы и по большей части к таким людям, на которых он имел какие-нибудь виды... Словом, поведение Владимира Матвеича было в высшей степени благоразумно и безукоризненно. В короткое время во всех чиновных домах Петербурга он умел снискать лестную известность; отцы и матери петербургские ставили его в пример своим детям и хором повторяли о нем: «Ах, какой прекрасный человек!»

Но злословие не щадит никого: оно подкрадывается, тайное и ядовитое, к репутациям самым чистым и непорочным и старается впускать в них свое жало и облить их своим ядом. Владимир Матвеич не избег этой общей участи прекрасных людей...

Инженерный офицер, однажды гуляя по Невскому проспекту с чиновником военного министерства, сказал чиновнику, указывая пальцем на черноглазую даму, отлично разряженную, катавшуюся в прекрасной ямской коляске:

— Посмотри-ка, брат, Катерина-то Яковлевна как нынче «финтит», будто «гран-дам» какая. Вот плут-то, этот Владимир Матвеич! прикидывается невинным, воды с виду не замутит, а на женины-то денежки изволит себе тайком покучивать.

Между тем как счастливый Владимир Матвеич наслаждался жизнью в цвете лет и возбуждал к себе зависть менее счастливых, отец его очень переменился: старость видимо начала отягчать его; он беспрестанно жаловался на болезни и наконец должен был подать в отставку. К этому понудила его еще более перемена начальника. Прежние директора, особенно последний, были необыкновенно благосклонны к Матвею Егоровичу, и он ни разу, занимая должность начальника отделения, не имел ни от одного из них никакой неприятности, даже ни малейшего выговора. Новый же директор — человек заносчивый, с современными идеями, с головою, загнутаю назад, казался недоступным для своих подчиненных.

Матвея Егорыча отставили с полным пенсионом, потому что он пятьдесят лет сряду

находился непрерывно на службе, начав ее с шестнадцатилетнего возраста. Двадцать пять лет занимал он место начальника отделения и был так доволен своею участью, что никогда не желал себе никакой перемены. «Что ж? слава богу, — говорил он впоследствии, — я дослужился до почетного чина, имею ордена, пряжку за сорок пять лет, да и то надо взять в расчет, что почти что ежегодно, кроме оклада, получал награждения. Чего же было мне больше? Если бы его превосходительство, Антон Мартыныч, оставался еще у нас директором, я бы и не подумал оставлять службы, несмотря на болезни и старость; я бы попросил, чтобы он мне позволил и умереть на этом месте».

Когда Матвей Егорыч переехал с казенной квартиры на наемную, ему сделалось очень грустно. Сложив руки назад, он ходил взад и вперед по своим новым комнатам, которые были нисколько не хуже прежних, и говорил про себя: «Нет, не то, совсем не то!» Всего тяжелее ему было по утрам, в то время, когда он прежде обыкновенно сиживал в департаменте; утром он решительно не знал, что ему де-

лать: то посидит, то походит, то развернет календарь, то опять закроет его. «Ух, как скучна праздная жизнь! — повторял он, — да и на этой квартире мне все что-то неловко».

Он перестал играть в вист, но всякий день, умывшись и одевшись, по привычке надевал еще свои ордена, хотя никуда не выходил из дома, и после обеда снимал их. Здоровье его со дня на день становилось хуже, лицо покрылось бесчисленными морщинами и совершенно осунулось. Он был похож на старое пересаженное дерево, которое не могло уже приняться на новой почве и доживало еще немногие дни прежнею жизнью, постепенно более и более обнажая свои ветви.

Но страшно было посмотреть на бедного Матвея Егорыча, когда он узнал о долгах жены своей. С тех пор он по целым дням иногда не выходил из своей комнаты и, лежа на кушетке, моргал правым глазом, охал и шевелил губами, будто говоря с самим собою, или писал на бумажке карандашом какие-то цифры. Сын посещал его редко, отзываясь занятиями по службе, — и Матвей Егорыч не только не сердился на него за это, а, напротив, хва-



лил. «Служба должна быть выше всего, — толковал он, — это первая обязанность человека. Я по себе знаю, как втягиваешься в службу. Владимир мой хороший служака — и я еще больше люблю его за это. Много ли таких молодых людей, которые бы в его лета проложили себе такую карьеру, как он?»

Одна только Маша не оставляла Матвея Егорыча: она подавала ему лекарство во время его болезни; читала ему «Санкт-Петербургские ведомости», когда он лежал в своем кабинете, или занималась возле него своим шитьем. Часто в эти минуты Матвей Егорыч пристально глядел на нее, и, бог знает почему, вдруг глаза его наполнялись слезами, и он закрывал лицо рукою и поворачивался к стене.

Настасья Львовна, которой уже не на что было покупать ни чепцов, ни платьев, которая заложила все, что могла заложить из своих вещей, начала беспрестанно жаловаться на судьбу и обвинять мужа в том, что в продолжение пятидесятилетней службы он не мог нажить себе никакого состояния, чтоб обеспечить семейство.

Наконец, преследуемая кредиторами, она решилась написать к сыну письмо, в котором просила его самым нежнейшим и убедительнейшим образом об одолжении ей восьми тысяч для уплаты тех из долгов ее, которые не терпели отлагательства.

Послав это письмо, она несколько часов пробыла в волнении и беспокойстве, ожидая ответа.

Ответ был получен в тот же день.

Она распечатала письмо и прочитала с замиранием сердца:

«Милостивая государыня, почтеннейшая матушка!

Письмо ваше, полученное мною сейчас, до глубины сердца растрогало меня и поразило. Я не мог никогда представить себе, что вы находитесь в таком положении. О, чем бы не пожертвовал я в сию минуту, чтоб иметь только возможность удовлетворить вашу просьбу и успокоить вас! Вы пишете, что занимали деньги не на собственные прихоти, а на мое воспитание и на самые необходимые, по вашему мнению, расходы, чтобы не уронить себя в мнении света и вести дом свой, как сле-

дует, по-барски, а что денег, получаемых батюшкою, было бы для этого вам недостаточно. Я верю, почтеннейшая матушка, очень верю, ибо сам живу теперь своим домом и при всей экономии едва свожу концы с концами. Деньги уходят так, что и не замечаешь, особенно при нынешней страшной дороговизне; к тому же, может быть, скоро я буду отцом семейства. Вы изволите также писать, что для меня пожертвовали всю вашу жизнь и ничего не щадили на мое воспитание... Чувствую, беспредельно чувствую, как много я обязан вам, и моя благодарность за все ваши обо мне попечения искоренится разве только с моею жизнью. Если бы у меня были просимые вами, почтеннейшая матушка, восемь тысяч рублей, я почел бы себя счастливейшим человеком, — представьте же себе, что у нас во всем доме теперь только четыреста рублей, а получения не предвидится скоро. Я сам бы приехал к вам, чтоб лично объяснить вам все это, но целую неделю с утра до ночи занимаюсь одним важным делом, по поручению начальства. Жена моя и я целуем руки ваши и батюшкины. Любонька спешит окон-

читать вышиваемый ею для вас модный риди-кюль и на днях сама привезет его к вам. Сестрице нашей поклон.

С истинным почтением и совершенною преданностью имею честь быть вашим покорнейшим и послушнейшим сыном —

В. Завьялов».

К концу письма руки Настасьи Львовны опустились, голова ее упала на грудь — и в таком положении минут пять она пробыла неподвижна; потом рука ее, державшая письмо, судорожно сжала его в комок; Настасья Львовна вдруг вскочила со стула, бросила письмо на пол, подбежала к своему туалету, открыла несколько ящичков и начала рыться в грудке разных лоскутьев... Лицо ее, в этот раз не натертое пудрой, побагровело; в неподвижных и сверкающих глазах выразился бессильный гнев и безумное отчаяние... Она раскидала лоскутки, сама не зная зачем, на туалете и на полу, подняла письмо и побежала к мужу...

Матвей Егорыч лежал на кушетке в своем кабинете и дремал от слабости. Возле него сидела Маша. Настасья Львовна вбежала в ком-

нату и громко захлопнула за собой дверь.

Старик вздрогнул и старался приподняться.

— Вот до чего мы дожили, Матвей Егорыч! — закричала она, кидая письмо, свернутое в комок, на стол, стоявший у кушетки. — Прочтите это письмо. Он мягко стелет, да жестко спатъ... И это наши дети, дети! — продолжала она громче и громче, смотря на дочь, — дети, на которых мы издерживали последние свои крохи, о которых думали день и ночь... Поди прочь с глаз моих, поди! вы все неблагодарные отродья, я не могу вас видеть. Мы нищие — и они не хотят подать нам гроша...

Маша в испуге вскочила со стула и прислонилась к стене.

Матвей Егорыч, не говоря ни слова, взял письмо со стола и, расправив его, поднес к глазам, — но зрение изменяло ему, он начал шарить рукой по столу, ища футляра с очками... С трудом надев очки дрожащими руками, он прочел письмо, сложил его, спрятал в карман своего сюртука и взглянул на жену.

— За что же вы так сердитесь на детей, На-

стасья Львовна? — спросил он ее тихо и спокойно, — нам грех жаловаться на наших детей: Маша — благодетельная, добрая девочка; Владимир — прекрасный человек, с этим и вы всегда соглашались; о нем все одинакового мнения: начальство им не нахвалится, большая часть наших знакомых ставят его в пример своим детям... Письмо это написано им почтительно, с сыновнею любовью... Где же ему взять такую сумму, как вы требуете, если у него нет ее? Ах, зачем делали вы эти долги, Настасья Львовна? зачем вы скрывали их от меня?

— Так, так, я знала, что я одна останусь во всем виновата, что все это падет на меня одну! У него нет денег? — говорите вы. Нет? вы глупый, слабый отец, — вы готовы всему поверить; он скоро подавится деньгами, а знаете ли вы, что у нас не останется ни копейки, что мы умрем с голода, что все вещи мои продадут за неплатеж долга?.. А невестка, видите ли, вышивает мне ридикюль!.. Да я ее выгоню из моего дома вместе и с ридикюлем-то...

Из груди старика вырвался болезненный стон. Маша бросилась к отцу.

— О, ради бога, — сказала она, обняв отца и обращаясь к матери, — ради бога, папенька нездоров.

Матвей Егорыч, глядя Машу по голове, — это была любимая его ласка, — сказал жене прерывающимся голосом:

— Настасья Львовна, мне уж немного остается жить: я не обременю собой никого; но если бы бог определил мне еще прожить, то Маша моя накормила бы больного старика своего, она не допустила бы его до голодной смерти... Нет... мы виноваты против нее, Настасья Львовна, очень виноваты. Дети наши любят нас. Посмотрите на Машу, — и он опустил свою голову на грудь дочери.

— Я несчастная, несчастная! все против меня!

И с ужасным криком Настасья Львовна выбежала из кабинета мужа.

Прошло полгода после этой сцены... Все заложенные в разное время Настасьею Львовною вещи и серебро были удержаны ростовщиком с малиновыми щечками за неплатеж ему долга; отдавая мелочные долги из расходных денег, она дошла до того, что для еже-

дневного содержания своего семейства должна была закладывать в ломбард столовые ложки... Она перестала жаловаться на сына и в безмолвной боязни ожидала решения своей участи. В эти полгода она так постарела, что на ее лицо было страшно взглянуть. Матвей Егорыч лежал больной; у него не было денег на лекарства, — он послал за сыном.

В вицмундире, застегнутом на все пуговицы; как всегда скромный и почтительный, как всегда румяный, — только несколько возмужавший, — явился Владимир Матвеич к отцу и сел возле его постели.

— Каковы вы? Получше ли вам, батюшка? — спросил он у отца, целуя его руку.

Матвей Егорыч вместо ответа печально покачал головой.

— Как идет твоя служба, Володя?

— Слава богу, помаленьку, батюшка. Занятий столько, что не имею минуты свободного времени.

— Что делать? за то тебя награждают, дорожат тобой... Когда есть занятия, тогда веселее, мой друг, это я по себе знаю... Ну, а как-ва жена твоя?



— Немножко прихварывает, батюшка; впрочем, в ее положении это натурально.

— Да, уж, кажется, богу не угодно, чтоб я дожил до внучат...

— Помилуйте... почему же, батюшка? еще здоровье ваше поправится.

— Нет, друг Володя, не надо, чтоб оно поправилось, не надо... Мои дела очень расстроены — ты это знаешь: что ж будет хорошего, если я поправлюсь?.. Не думал я, Володя, дожить до такой нужды... Ну, да что ж делать? — видно, так богу угодно... Я просил тебя к себе... мне надобно поговорить с тобой.

— Что прикажете?

— У меня до тебя просьба, — и Матвей Егорыч взял сына за руку, — не оставь мать и сестру; у них нет никого, кроме тебя. Надо взять в расчет, что без тебя они пойдут по миру... — произнес он, глотая слезы и задыхаясь слезами.

— Помилуйте, это мой долг, — сказал Владимир Матвеич, расстегивая нижнюю пуговицу своего вицмундира и потупляя глаза. — Но к чему такие мысли, батюшка? вы себя этим расстраиваете.

— Так ты не оставишь их? — продолжал отец, все еще держа сына за руку и пристально смотря на него.

— Полноте, батюшка, лучше переменимте разговор.

— Зачем переменять? Отвечай мне, скажи мне, Володя...

— Можете ли вы сомневаться?

— Нет, до сих пор я не сомневался в тебе, — видит бог, не сомневался; но что же ты не посмотришь на меня? отчего же ты говоришь со мной так сухо? Я вас очень люблю, и тебя, и сестру твою, очень, — нам не долго быть вместе.

Владимир Матвеич поцеловал руку отца.

— Лучше поцелуй меня... вот так... Ты много мне доставлял в жизни утешения... Будь ко мне поласковее... мне все кажется, что я помещал тебе; может, тебе нужно куда-нибудь... у тебя дела...

— Нет-с, я совершенно свободен... мне приятно провести с вами время.

Правый глаз Матвея Егорыча заморгал, и что-то похожее на беспокойство и недоумение изобразилось на лице его. Этот полужив-

вой, боязливый, иссохший старичок ничего уже не имел общего с тем самодовольным человеком, который некогда, улыбаясь, любовался Владимиром 3-й степени.

— Вот еще что я хотел сказать тебе, — говорил он сыну, в свою очередь потупляя глаза, — мне совестно, Володя, обирать тебя, — я и без того это время перебрал у тебя, я думаю, рублей до двухсот... только у нас нет ни полупенки... мне не на что послать за лекарством... вон на столе лежит рецепт... я бы не беспокоил тебя... Если можешь помочь нам, если только это не расстроит тебя, одолжи нам еще... рублей хоть двести.

Матвей Егорыч едва договорил это; слова насилу сходили с языка его; он как будто ждал, не прервет ли Володя его затруднительной речи; но Владимир Матвеич не прерывал его, и, когда отец замолчал, ожидая ответа, — он, смутясь и запинаясь, объявил, что сам очень нуждается в деньгах и что более пятидесяти рублей, к сожалению, никак не может уделить от себя.

Вынув из кармана пятидесятирублевую ассигнацию, будто нарочно заготовленную им

для этого случая, Владимир Матвейч положил ее на стол.

Голова Матвея Егорыча опустилась на подушку, и, верно, он почувствовал в эту минуту какую-нибудь боль, потому что лицо его болезненно сморщилось.

— Прости меня, Володя, — сказал он едва слышно, — я боюсь, не обременяю ли я тебя нашими нуждами, — и он закрыл глаза, будто засыпая.

Владимир Матвейч осторожно, потихоньку хотел выйти из комнаты, но едва он приподнялся, как старик вздрогнул и открыл глаза.

— Куда ты, Володя? — спросил он.

— Я думал, что вы заснули, батюшка.

— Нет, я так только начинал забываться. Тебе, может быть, пора куда-нибудь... поезжай с богом... Навести меня еще...

Владимир Матвейч взял шляпу и хотел подойти к руке отца; но старик, заметив его движение, отдернул руку и, приподнимаясь с подушки, обнял сына костлявою, морщинистою рукою и снова пристально посмотрел на него мутными, болезненными глазами, как бы

непреодолимо желая на лице его прочитать тайну его сердца.

— Любишь ли ты меня?

— Как же мне не любить вас, батюшка?

— Ну, хорошо... Прощай же, Володя, прощай. Меня в самом деле что-то в сон начинает клонить...

Маша, сидевшая в соседней комнате, почти от слова до слова слышала весь этот разговор. Когда Владимир Матвеич вышел из отцовского кабинета, она пошла к нему навстречу.

— Послушай, — сказала она брату решительным и твердым голосом, — вот уж более недели матушка не знает, что делать, она кое-как еще перебивается; но к ней беспрестанно приходят за деньгами, — нельзя же все забирать в долг. Она очень страдает, она может занемочь, а лекарства не отпустят в долг; ты видел, в каком состоянии батюшка... Ты должен помочь им.

Владимир Матвеич перебирал шляпу в руках.

— Сестрица, все, что мог, я сделал — и сейчас отдал батюшке почти последние пятьде-

сят рублей, — кроме того, в разное время я передавал ему очень много денег.

— Этих пятидесяти рублей мало, — продолжала она так же твердо и решительно, — надобно же им чем-нибудь жить. Ты должен дать ему по крайней мере столько, сколько он просит у тебя.

— Ах, сестрица! ты, право, не знаешь, что говоришь; ведь деньги, милая, нельзя делать: откуда же мне их взять?

— Как? разве у тебя денег нет? — спросила она, — ты живешь так богато... у тебя в доме такая дорогая мебель, такие прекрасные вещи...

— С чего ты это взяла, что я живу богато? — перебил ее Владимир Матвеич, будто немного испугавшись. — Мебель! ведь надобно же иметь мебель, чтоб сидеть на чем-нибудь. Я приобретаю деньги своими трудами, со стороны получаю немного; мне каждая копейка делает счет.

— Ну, так если у тебя нет денег, ты, верно, продашь какую-нибудь из твоих вещей и пришлешь батюшке столько, сколько он просил у тебя?

Владимир Матвейч с выражением величайшего удивления посмотрел на сестру.

— Продавать вещи! Как это тебе пришло в голову?

— Отчего же? — спросила она, посмотрев на брата с таким же удивлением, с каким он смотрел на нее, — чтоб избавить от горя умирающего отца, который так любит тебя, разве ты не решился бы отдать последнее?

Владимир Матвейч в волнении прошелся по комнате.

— А кто виноват, что они дошли до такой нужды? — говорил он, будто с самим собою. — Вольно было матушке так много издерживать на свои наряды; надобно жить по состоянию.

— Что говорить о том, чего нельзя поправить! И чем же виноват батюшка? Зачем он должен страдать теперь? Я предчувствую, что он не проживет долго; по крайней мере, мы будем стараться, чтобы последние дни свои он провел спокойно и не нуждался.

— Ей-богу, у меня нет денег, сестрица! я душевно бы рад...

Маша опустила голову на грудь. С минуту

она пробыла в таком положении, потом, не произнося ни слова, посмотрела на брата умоляющими глазами, полными слез, и вдруг упала перед ним на колени...

— Сестрица, сестрица!.. Помилуйте, что это вы... — Владимир Матвеич бросился поднимать ее; но она тотчас сама встала, подавив в себе внутреннюю боль, и вытерла слезы.

— Я хотел давно сказать тебе, сестрица, — говорил ей Владимир Матвеич с расстановкою и замешательством, — я не знаю только, как ты это примешь, — может быть, тебе покажется несколько странно... ты можешь и батюшку и матушку избавить от затруднительных обстоятельств...

— Каким образом? — спросила она с живостью.

— Вот видишь ли, есть один человек — ты его несколько раз видела у меня, — он говорил мне, что сочтет за честь, если ты согласишься выйти за него замуж, а он человек очень богатый.

— Кто это? — спросила Маша, горько и насмешливо улыбнувшись.

— Шнейд. Ты, может быть, заметила его у



меня: небольшого роста, с таким густым румянцем на щеках... Он, правда, не важного чина, еще только титулярный советник, но живет разными благородными оборотами и этим скопил себе значительный капитал; в семейной жизни он должен быть человек очень хороший. Если ты решишься выйти за него, то будешь в состоянии обеспечить по смерти и батюшку и матушку.

Бледное лицо Маши вспыхнуло.

— Может быть, я не стою твоего участия, но, верно, не заслуживаю и твоих оскорблений, — сказала она брату и, не дождавшись его возражений, вышла в другую комнату, упала на диван и рыдая могла только проговорить: «Несчастный батюшка, несчастный!»

Владимир Матвеич, возвращаясь домой, рассуждал сам с собою.

— Добрая, а престранная девушка!.. Другая на ее месте еще бы была благодарна мне за мое предложение. Пренебрегать денежным человеком!.. Она, видно, не знает, что на нищих невест в наше время не слишком обращают внимания... Ведь засидится же в девках!

Матвей Егорыч после свидания с сыном не заснул ни на одну минуту, хоть и сказал, будто хочет спать. Он долго сидел на постели, сложа руки на коленях и однообразно качая головою.

«Неужели, — думал он, — неужели ему жаль помочь старому, больному отцу? Володя! Володя! Но, может быть, у него точно нет денег? Он так сухо отвечал на мои ласки; но, может быть, мне это показалось?.. Нет, когда я ласкаю Машу, то мне всегда легко; мне представляется, что и она чувствует точно то же, что я чувствую в эти минуты. Ему грех было бы не любить меня... Надо взять в расчет, что сын, который отказывает в помощи бедному отцу, — дурной сын; но разве Володя может быть дурным сыном? Он, кажется, до сих пор исполнял как нельзя лучше все сыновние обязанности; я не замечал в нем никаких дурных наклонностей, никаких: службой он занимался и занимается отлично; начальство ставит его в пример другим; все говорят, что он прекрасный человек; все любят и хвалят его. Как же ему быть дурным сыном? Непостижимо... Однако он ни разу не вызвался

сам помочь мне, а он имеет к тому все средства...»

И бедный Матвей Егорыч, думая о сыне, переходил от догадки к догадке, от сомнения к сомнению. Он силился разрешить резкие противоречия, беспрестанно представлявшиеся уму его, и оставался при одном недоумении... Это мучило его; даже во сне часто вырывались у него отрывочные, несвязные восклицания: «Прекрасный человек!.. Неужели ему жаль?.. Отчего это?..»

Настасья Львовна иногда по целым дням плакала, а иногда лежала в каком-то странном, бесчувственном состоянии, хотя не жаловалась ни на какую болезнь... И Маша должна была сидеть у нее и у отца и еще заниматься домашними хлопотами.

К счастью, на другой день после посещения Владимира Матвеича Матвей Егорыч получил совершенно неожиданно письмо и при нем пятьсот рублей от старушки княгини Л..., у которой он исправлял некогда должность стряпчего. Княгиня, узнав о его болезни и о том, как он нуждался, просила Матвея Егорыча принять эти деньги, очень радушно рас-

спрашивала, у него о дочери, изъявляла желание взять ее в число своих воспитанниц и обещала хлопотать об устройстве ее участи. Но Маша отказалась от этих предложений.

# Глава IX, заключительная, из которой каждый читатель может вывести нравоучение, какое ему заблагорассудится

**25** сентября, накануне праздника Иоанна Богослова, Матвей Егорыч с самого утра почувствовал себя дурно... Утром он разобрал, однако, все свои патенты и аккуратно по порядку снова уложил их; потом спросил коробочку с своими орденами: вынул их, пересмотрел, перетер и спрятал... Отдавая назад Маше эту коробочку, он сказал: «Видно, мне больше уж не надевать их, Маша». Потом он все жаловался на слабость, несколько раз повторял: «загостился я у вас, пора домой» — и около полудня причастился святых тайн. «Теперь мне стало полегче», — сказал он жене, почти не отходившей в этот день от его постели. Когда он заметил, что глаза Маши покраснели и распухли от слез, он старался улыбнуться и прошептал сквозь слезы: «Полно, Машенька, о чем плакать; лучше помолись»

обо мне». Часу в третьем он начал стонать, жаловаться на боль в груди и просил, чтоб послали за Володей.

Несколько раз и до этого он вспоминал о нем и все с каким-то беспокойством. В три часа Владимир Матвеич приехал вместе с Анной Львовной. Настасья Львовна и его и сестру свою приняла очень сухо. Владимир Матвеич казался расстроенным; Анна Львовна, у которой в последнее время от худобы лицо сделалось еще длиннее прежнего и под глазами образовались синие пятна, все вздыхала и повторяла: «ах, сестрица!» или «ох, милая сестрица!». Но эти вздохи и восклицания не производили никакого впечатления на Настасью Львовну. За обедом почти никто не прикасался к кушанью и все молчали. Доктор, заехавший после обеда, объявил, что вряд ли Матвей Егорыч проживет до утра. Скоро все один за одним на цыпочках собрались к постели умирающего. Он лежал, закрыв глаза; дыхание его было тяжело и неровно.

Маша стояла у его изголовья, прислонив голову к кровати спинке; Владимир Матве-

ич сидел на стуле у его ног с наклоненной головой, заложив пальцы за пуговицы вицмундира; Настасья Львовна перевертывала в руке пустую лекарственную банку и глядела куда-то неопределенно; Анна Львовна подносила ежеминутно платок к глазам и шептала: «ах, какое несчастье!». Осеннее солнце освещало эту картину.

— Маша! — сказал больной, приподнимая отяжелевшие веки.

Все вздрогнули при этом голосе. Маша подошла к изголовью.

— Мне тяжело дышать, Маша, — продолжал он слабым, едва слышным голосом, — положи руку мне к голове да не отходи от меня...

После минуты молчания он спросил:

— А Владимир здесь?

— Здесь, батюшка, — сказал Владимир Матвеич, вставая со стула.

Старик начал приподниматься, держась за Машу, и открыл глаза свои, ища сына:

— А! это ты? — поди ко мне.

Он начал пристально смотреть на него. Казалось, опять страшное сомнение начинало

мучить его.

— Вот и мой час пришел, Володя... А ты мне дашь умереть спокойно?

— Что прикажете, батюшка? — у Владимира Матвейча навернулись на глазах слезы.

— Я прошу тебя... у меня одна просьба... не оставь мою Машу; не оставь свою мать... они без куска хлеба... не оставь их...

Маша дрожала всем телом; она не могла поддерживать отца, и Анна Львовна подбежала к ней на помощь.

Вдруг банка выпала из руки Настасьи Львовны и разбилась вдребезги; лицо ее судорожно подернулось, и с страшным криком: «Матвей Егорыч, прости меня! прости меня... я много перед тобою виновата!» — она почти бесчувственная упала к его постели.

— Поднимите ее! — сказал Матвей Егорыч.

Ее подняли и подвели к нему. Он пожал ей руку.

— Я давно простил всем, Настасья Львовна, — прости и ты меня.

— Ты ни в чем не виноват передо мной! — простонала она.

— Как ни в чем? Все мы люди. Оба мы ви-



новаты перед Машей, очень виноваты... береги ее... Поправьте мне сзади подушки... Маша, Маша... поди ко мне... — Он протянул к ней руки и прижал ее к груди... — Ну, прощай, моя Маша, прощай, дитя мое, родное мое дитя... Когда я буду отходить, читай надо мною молитвы, — я хочу, чтоб ты читала. Дай мне перекрестить тебя... Над тобой всегда, всегда мое благословение... Господи, услыши молитву мою...

Ослабевающею рукою он осенил ее крестом и произнес довольно твердым голосом:

— Во имя Отца и Сына и Святого Духа, — потом он благословил и перекрестил Владимира Матвеича. — Не оставь Машу, — сказал он ему.

Это были последние слова его: утомленный, он опустился на подушки... Через полчаса раздался голос Маши, заглушаемый рыданиями; она читала отходные молитвы.

В день похорон, по обыкновению, съехались гости. Владимир Матвеич хлопотал, бегал, отдавал приказания, плакал — и все гости смотрели на него с особенным чувством и говорили:

— Вот уж истинно прекрасный человек!

От самого дома до Волкова кладбища Владимир Матвейч шел за гробом отца пешком и без шляпы, несмотря на сырую осеннюю погоду.

Гроб опустили в могилу и засыпали землей; Владимир Матвейч, Настасья Львовна, родственники и гости разговаривали в церкви с священником и занимались кутьею.

Одна Маша сидела у могилы отца... Она не плакала, — в эту минуту она была спокойна, — грустное, но святое и бесконечное чувство наполняло грудь ее. Небо застилали серенькие тучки, желтые листья падали с деревьев кругом нее — и перед нею тянулся бесконечный ряд могил...

— Маша, пора домой! — сказала ей мать, подходя к ней.

Они сели в наемную карету, запряженную двумя клячами, и шаг за шагом поплелись в город. Скоро карета исчезла в тумане...

**This file was created  
with BookDesigner program  
bookdesigner@the-ebook.org  
20.06.2008**